Зинаида Шаховская

РАССКАЗЫ
СТАТЬИ
СТИХИ

LES EDITEURS REUNIS
PARIS

Зинаида Шаховская

Рассказы
Статьи
Стихи

LES EDITEURS REUNIS
PARIS



ИЗ ЖУРНАЛИСТИЧЕСКОЙ ЭФЕМЕРНОСТИ


Рассказы

СТАРОСТЬ ПУШКИНА

Под солнцем морозные узоры окна сливались и расходились, открывая белую площадь сада и заснеженные деревья парка. Тяжело ступая, прошел по коридору истопник, заряжая печь дровами, стуча заслонкой, потом прошла девушка, неся в кувшине теплую воду для умывания Натальи Николаевны. Пушкин потянул за шнурок, и в открытую форточку понесло ядреным январским воздухом. Зевнув и потянувшись, Пушкин подошел к надкаминному зеркалу, доставшемуся после смерти матери. Оно отразило сморщенное, несколько обезьянье личико, каштановые с сильной проседью вьющиеся высоко надо лбом волосы, склерозную желтизну белков. Глаза же оставались голубыми, живыми и быстрыми. С раздражением вспомнил о недавно полученном известии и подумал: в мае пойдет все вертеться. Нашли что праздновать, какой праздник — семидесятилетие! Придется еще в Петербург ехать, собратья академики чествовать будут. Может, сказаться больным, проваляться в постели? Да что толку? Сюда нагрянут, и добро бы друзья, а то так, всякие... Тютчев, тот не приедет, хворый стал. Вспомнилось, как навещал его в Германии, хорошо тогда поговорили о поэзии. И сразу выплыли в памяти уже и не существующие

друзья и недруги. Книги их были вот тут, под рукой, на полках библиотечных шкафов, имена на корешках, как на надгробных плитах.

Размышления прервал стук в дверь. Как всегда, в 9 утра явился управляющий Сашка, здоровенный мужик с вьющейся каштановой бородой, живыми светлыми глазами и толстыми губами, отдаленно, но явно похожий на барина. Водились и другие толстогубые в Михайловском и Болдине, но к Сашке Пушкин чувствовал особенную близость. Бо́льшую, смешно сказать, чем к законным своим детям. И каждый раз, увидев входящего Сашку, теперь уже Александра Михайловича, в улыбке его Пушкин угадывал и Глашеньку, крупную чернобровую девушку, усладившую его Михайловское сиденье, и тогда поднималась в нем жалость и нежная память. Шутница она была, хоть и с норовом, и как плакала, когда выдал он ее замуж за Михаила Волкова, смирного и непьющего садовника. Но хоть и дал он и Глашеньке и ее мужу вольную, Глашенька уйти не захотела и сына вырастила в Михайловском, постоянным укором своему барину. А сам Сашка, легко выучившийся у священника грамоте, тоже никуда не ушел, и когда по утрам разговаривали они уже в кабинете Бончарова о хозяйстве, тянулась от одного к другому ниточка отцовства и сыновства.

В хозяйстве бывший Сашка понимал лучше барина и отца и вел его примерно. Нрав же пушкинский ему все же передался, а не только физическое сходство, и жена его зачастую ревела из-за его любвеобильного сердца. Александр Михайлович был также знаменитым на весь округ охотником и книжки любил почитать зимою — летом было некогда, — на гнев был скор, но и добр. Пушкин был рад, что Сашка писать стихи не пытался, этого дьявольского призвания у него не было. Единственный из дворни Александр Михайлович звал Пушкина не барин, а по имени и отчеству — Александр Сергеевич.

— Хорошо сегодня, морозно, безветрено, не захотите ли верхом проехаться, Александр Сергеевич?

— Да нет, спасибо. На коне поздно, а на кляче не по нутру.

Позвенев ключами, Сашка вышел, и Пушкин как-то осиротел.

Михайловское Пушкин отдал старшему сыну, Болдино младшему, выкупил и Захарьино, где провел детство у бабушки. А на авторские, идущие к нему потоком, (книги его расходились по всей России, изучались в университетах, зубрились в школах, давались как приложения к журналам), купил он у вдовы генерала Чирикова, Зинаиды Карловны, урожденной Росси, псковское поместье Бончарово.

Усадебный дом был построен отцом Зинаиды, зодчим Росси, с которых Пушкин в молодости встречался. Дом с колоннами, с доброй землей, с парком и садом и прочими угодьями, нравился ему особо тем, что был в ампирном стиле его молодости. Дочь Росси и в пятьдесят лет была красива до чрезвычайности, а Пушкин любил ее воображать молодой хозяйкой дома, где он жил.

В тулупе и валенках мелькнула и скрылась, протопав по сугробикам сада, судомойка Груша. «Вот и живу я во времени, когда пало рабство по мановению царя», подумал Пушкин. «Тоже, свободная... Муж бьет как напьется, тарелки трет, радости не знает. На что и свобода такая? Людей-то не переменишь. Тайная свобода, кто до нее дорос, а другой, признаться, и нет. Да и я ведь, пока был молод, был рабом своих страстей, пока не понял, что мотал добро не по назначению, назначение же мое одно — служить искусству».

Все реже возвращались к нему образы Анны Керн, Раевской, Амелии, Ризнич, Долли Финкельмон и не счесть других... Случалось ведь, что врал и себе, и им, одно говорил про них, другое им писал, — «ну ничего, зато вошли через меня в земное бессмертье». Чаще думал о Ласточке, черноокой Россети, может быть потому, что страстью к ней не пылал, напрасно Натали ревновала. Дружба дольше жила в нем,

чем влюбленность. Но о Россети думать было тяжко. Саму себя пережила...

Пушкин сидел в кресле, смотрел на снег, слушал голос памяти. В эти часы шла в доме немудреная дневная забота. Вставая, крепко опирался на старую палку с набалдашником, сильно прихрамывал: пуля Дантеса пробила колено. Когда ночью нога болела, вспоминал дуэль на Черной Речке. Раньше улыбался — как ловко, не убив, изуродовал Дантеса. Теперь же не улыбался, сожалел: зря все это было. Ну, отвез бы дуру Натали в деревню, забрюхатил бы ее еще раз и злые бабы, Идалия Полетика, Нессельродиха и прочие, остались бы с носом. А так остался бедный Дантес без носа и без глаза изуродованным навсегда, а ведь Дантес не Пушкин, только и была у него, что красота. И то сказать, ведь Натали была мне верна, я сам мучил ее своими изменами. Глупое это было время. Вот и Лермонтов погиб, а ведь как был талантлив. Да тоже, как я, лез под пулю — то ли по молодчеству, то ли по озлоблению. Право, признаться, я бы на месте Мартынова сам бы его пристрелил, и не хотел бы, да пришлось бы... Греха таить нечего, несносные люди поэты. Сколько народа я эпиграммами без жалости колол, как бандерильями.

И хотя казалось теперь Пушкину, что и эпиграмма глупая штука, сами собою все новые приходили к нему на ум и язык, то на собратьев академиков, то на нынешних министров, то на губернатора и даже на Царя-освободителя, льющего на него свои благодеяния.

Да, дуэль последняя в его жизни оказалась ни к чему. Располневшая, все еще красивая и навсегда безмятежная Наталья Николаевна стала прекрасной хозяйкой и примерной бабушкой. Впрочем, по-прежнему любила наряды и комплименты и неожиданно пришедший к мужу и на нее переходящий почет. Как сердилась она, когда Пушкин отказался от графства. «Я, душа моя, царевича Алексия не душил», сказал он ей, намекая на графство Толстых. И хотя по званию и по чину был теперь Пушкин «Его Превосхо-

дительством», в Бончарове было приказано так к нему не обращаться. Ну, а в столице пускай и «превосходительство» для удовольствия Натали.

Лежа бессонными ночами рядом с дородным телом жены, пышущим теплом и бездумием на его легкое сухонькое тело, Пушкин вспоминал свояченицу, косенькую Александрину. Не на той сестре женился, думалось ему. Правда, лицом не удалась, зато остальное все хорошо было, да еще и ум. С Александриной было не скучно...

Спал Пушкин мало и плохо. Все казалось, что чего-то не успеет дописать, додумать... Вставал рано, шел умываться (всегда холодной водо́й), прислуги не беспокоил, в кабинете же, запершись, как в крепости, пил чай с бубликами, пока не созреет в нем, а созревало не быстро, то самое важное, для чего он жил. Шли к нему привидения и воспоминания, светотени памяти, питающие творчество.

«Много напраслины возводили на Николая I-го, да и сам я к этому руку приложил. Ну, какой он был тиран? Ведь много раз хотел меня спасти от меня самого...» И так живо вернулась к нему его последняя аудиенция у царя 23-го ноября 1836 года... Ведь дал слово не драться, да не выдержал. Строгий голос государя все еще звучал в ушах, говорил он повелительно, но и заботливо, и выпуклые глаза его смотрели как бы стараясь понять, что делает Пушкина особенным, опасным и нужным человеком. А царь, он что ж, был не плох, скорее по долгу царствовал, чем по желанию власти. Разве плохой человек стал бы терпеть вблизи себя добрейшего Жуковского, всегда за кого-то ходатайствующего, да денег для других достающего. Злой добрых не терпит, а Жуковский — небесная душа. «Вот я Наполеона возвеличил, а тот почище тиран будет, чем Николай, и людей сколько перебил, да и Россию, нас дворян, да крестьян на долгие годы разорил из-за властолюбия».

Но декабристы, друзья в оковах, как за них простить? Годы меняют перспективы, как нынче говорят. Российский Кромвель-Пестель, Наполеон au petit pied,

народ русский не любил. Холодная бестия был. Трубецкой, честный, но дурак и мямля. Да ничего не скажешь: при допросах мало кто героем оказался, разве один Шаховской. Из малодушных людей хороших правителей не состряпаешь. А любезные сердцу, Пущин, Кюхля, Волконский, Муравьевы, все чистые люди, поэтому и обреченные не на власть, а на обличение власти. Пущин вот вернулся, в 56-ом, но совсем другим, и не узнать его.

Трудно сознаться, а почему-то предпочитал теперь Николая I-го Александру II-му, хотя Александр оказывал ему полное расположение. Благодаря Александру смог Пушкин осуществить свое заветное желание: поехать заграницу. И в Дрездене, и в Риме, и в Париже побывал. Что ж, вернувшись, подумал: в чужих странах много что поучительно и прекрасно, но все же мечтаниям не соответственно. И просто сказать, русскому человеку там чего-то не хватает. К тому же сердился, путешествуя, что иностранцы так мало и так плохо знают Россию и русских. «Все по мерзавцу Кюстину равняются, вертихвосту и мужеложцу. Наука нашему двору, «не ласкай всякого маркиза...»

«Что народ наш несчастен, это правда, а что дары в нем заложены — это тоже правда. И сила, вот и Буонапарту показали. Силен, впрочем, не просто силой, а чем-то, чего на западе нет. Запад, что игрушка, особенно Франция и Италия. Германия дело другое, да, пожалуй, скучновата. А народ наш долго спать может, а как проснется, не только свою страну перевернет, да еще другие страны потрясет», — и подумав это, ощутил почему-то жалость к Европе.

Все так же страстно и утробно любил Пушкин Россию, хоть и ругал ее и ее нравы, все хотелось ему сказать о ней какое-то окончательное слово, придать ее расплывчатости форму. Впрочем, сознавал, что и так многое для нее сделал. Вспоминая о Николае I-ом и о Наполеоне, вспомнил и о «своем» Петре. «А Петра никому не отдам. Впрочем, и я его в «Медном Всаднике» выявил сугубо грозным», и про себя улыб-

нувшись, подумал — «А не будь Петра, не было бы и Пушкина».

Случалось, что Александр Сергеевич брал с полки то один, то другой том своих сочинений — не полных, когда-то еще будут полны, и вспоминал, как в молодости при удаче радовался, прыгая по комнате и восклицая: «Ай да Пушкин, ай да сукин сын», но чаще что-то ему не нравилось, и карандашом он делал отметки, все подправляя уже напечатанное, не всегда его улучшая. Напрасно бережливая Наталья Николаевна его призывала: «друг мой, не чиркай в лучших изданиях, возьми себе из новых, дешевых». Пушкину было приятно держать именно эти, в темно-красный сафьян переплетенные, тома, напечатанные на прекрасной бумаге, с художественными заставками...

День проходил в рассеянии. Не нравилась мысль хоть и об отдаленном, но предстоящем чествовании. А отказаться — придется не только сказаться больным, но еще и принимать тех, кого принесет к мнимо-болящему нелегкая. А вдруг опять пожалует из Москвы журналист, молодой развязный человек, уже побывавший в Бончарове летом. Он по началу как будто собирался похлопать Пушкина по плечу, но вскоре так смутился под острым взглядом поэта, так безнадежно запутался от быстрых и умных высказываний его, что начал молчаливо и покорно записывать все в тетрадь и даже раз назвал Пушкина Сергеем Александровичем. Получив впоследствии номер «Московских Ведомостей», Пушкин звонко расхохотался: «Матушки! Неужели я такую чушь напорол!».

Да, денёк семидесятилетия не прельщал. К тому же вся семья съедется. «Глупая это затея иметь потомство» — думал Пушкин. Дети вышли вялые, тихие, меньше на него похожие, чем Сашка, умом, пожалуй, в мать, но притворялись, что любят литературу. Пушкин же больше всех любил свою дочь Марию Гартунг, полную, с вьющимися черными волосами и сдержанно страстную красавицу, живущую на Сивцевом Вражке, где посещал ее граф Лев Толстой. Что-то волновало его в ее судьбе.

Внуков тоже, настращав их, вероятно, дедом, привозили, в его именины. Разряженные, особо чистенькие, они были научены читать перед дедом то «Полтавский бой», то «На чужбине свято соблюдаю», то «Зима, крестьянин торжествуя» (до торжества-то крестьянину еще далеко, может быть, в XX веке случится). Внуки читали кто нараспев, кто барабаня слова, выпучив от усилия глаза, и часто запинались. Чиновниками станут, вероятно, но навряд ли поэтами, не из того же теста, хоть и той же крови.

Не очень ему нравилось, что другие писатели приезжали к нему на поклон, как будто он был средневековой башней, величавой руиной, свидетелем прошлого, мало связанным с настоящим. Слишком был умен, чтобы поддаваться на лесть, и все казалось ему, что хвалят его не за то, что он сам в себе ценит. Литераторы всё пошли серьезные, а в присутствии важных или много мнящих о себе посетителей в Пушкине просыпался юношеский задор — он всё верил, что и ум высокий, и сердце можно скрыть «безумной шалости под легким покрывалом», он озадачивал гостей шутками, непристойностями, двусмысленностями. Без шутки беседы не понимал, а они шли к нему как к патриарху, потолковать о судьбах мира и народов...

С Тургеневым-европейцем было, впрочем, легко, говорили больше о французской литературе. «Здорово он выдумал новое слово «нигилисты», и вообще средь кажущегося прекраснодушия есть у него пророческие предчувствия чего-то трагического, что может произойти на Руси, "в топоры белоручек"... вот у меня — подумал Пушкин — ногти длинные, не то, что у графа Толстого, но руки-то ведь рабочие, писать ли, сено ли косить — того же порядка».

Вспомнил о Толстом, («Война и мир» только что появилась), — «как же он может отрицать значение личности в истории? Тогда можно сказать что я, да и другие — Карамзин, Державин, Ломоносов, Баратынский, да и сам Толстой, не имеем значения в истории литературной. А это уж простите!»

Всегда казалось Пушкину, что народ русский он знает лучше, чем все остальные, даже Лесков, и самого себя знает лучше, чем все те, кто о нем пишет. Белинский вот попал пальцем в небо, а беспутный Аполлон Григорьев, умерший лет шесть тому назад, верно угадал, что именно он, Пушкин, «завязал основной узел» русской литературы и указал ей путь.

Книги заполнили уже давно все библиотечные шкапы стоящие вдоль стен, перелились в соседнюю комнатушку, добрые друзья, свидетели трудов и сотрудники. Тут и «Английская история» МакКоллея, и «Силас Марнер» Джоржа Элиота, «История Англии» Тэна и бодлеровские «Цветы зла». Пушкин чувствовал их магию и старался в нее проникнуть. Гейне, и Дарвин, и Гизо, «Римская история» Момзена и Ренан, и Диккенс — все читал в подлинниках, вот только «Пера Гинта» Ибсена пришлось читать по-французски, скандинавских языков не одолел. Прозу-то переводить можно прекрасно, а вот стихи не даются. Когда читал переводы своих, они казались ему чужими.

Летом приезжал из Москвы студент Обручев, филолог, приводил библиотеку в порядок, а заодно наполнял в свободные часы страницы своих тетрадей высказываниями Пушкина, готовил диссертацию. Другим Пушкин не доверял и сам тщательво рассовывал каждую книгу, где ей полагалось быть, и, хотя вообще был беспорядочен, всегда находил нужную. Новые же нарастали на специальном столе, пока все не будет прочтено. Случалось конечно, что, читая иные книги, газеты, журналы — и позевывая — шептал Пушкин стишки Дениса Давыдова — «но смешались шашки, и полезли из щелей мошки и букашки». Да, новые времена ему и нравились, и не нравились. Новые слова просились на перо, он их не гнал, если входили сами, как бы танцуя в ритме фразы, но перечитывая, хмурился, проверяя, удачно ли сливается нынешний язык с языком его молодости. Вспоминал споры Беседы и Арзамаса и не собирался стать Шишковым семидесятых годов.

В час дня ворвались удары гонга, привезенного из

Индии каким-то поклонником. В столовой уже сидела Наталья Николаевна и стояли у своих стульев, ожидая его, крестница ее Алина и гость, сосед по имению, привезший по пути почту из Пскова для Пушкиных, Петр Павлович Тучков. Почта лежала на столике в углу столовой и Пушкин, садясь, все косился на кипу столичных журналов, на розово-желтые обложки распакованных номеров La revue des Deux Mondes, и книги, которые он выписывал из разных стран. Сосед был молод, мил, один из тех помещиков, которые, хоть и воспитаны французскими и немецкими гувернерами, но и русскими остались, и от Европы не отказались. Его присутствие очень оживило Натали.

«В Париже было прелестно, — говорила она, — где мы только с Александром Сергеевичем ни побывали, и посол был очень мил, устроил нам прием, на котором был весь Париж».

«Да, мне было скучновато, — улыбнулся Пушкин, — весь Париж — многовато, не знаешь, с кем говоришь». И пока Натали, вдруг помолодев, рассказывала, какое на ней было в тот день платье от Мме Hortense, Пушкин вспомнил, в какое бешенство он пришел, когда, развернув «Журналь де Деба» в первый же день своего приезда в гостинице «Палэ Руаяль», он прочел следующую заметку: «Русский поэт Александр де Пушкин, герой известной дуэли, на которой был ранен французский шуан Жорж д'Антес, находится в нашей столице». Н. Н. газет не читала, Пушкин, скверно выругавшись, скомкал листы, — он с удовольствием высек бы журналиста.

«Что нового в театрах? — спрашивала Натали, — мы ведь знакомы с Дюма-отцом, жена его Нарышкина, конечно, немного declassée, но очень элегантная и любезная женщина. Мы были вместе с ними в театре, на комедии Лабиша «Путешествие господина Перришона». Ах, тебя, впрочем, мой друг, на этом представлении не было...»

«И впрямь не было, я Сент-Бёва посетил в этот вечер».

У Сент-Бёва он действительно побывал, но затем с племянником Вяземского, младшим секретарем посольства, отправился в места, куда Н. Н. повести не мог. Знакомился с ночными прелестницами Парижа просто из любознательности. Самые знаменитые, на которых разорялись парижские львы, показались ему уже не первой свежести, хотя и не совсем в летах Жорж Санд, которой он тоже нанес визит и вернувшись сказал жене — «Шопена и прочих не понимаю».

Литературной братии — Тэну, Банвиллю, Виньи и другим — посвящал часы, когда Н. Н. с женой посла отправлялась заказывать и покупать всякие платья, шляпы, шали, веера, духи, о которых, вернувшись в Россию, со вздохом скажет «на что они мне в нашей глуши?»

«Мериме умер недавно», — сказал гость.

«Да, жалко, я с ним в дружбе был, он первый, с кем завязалась связь. А вот Дюма-отец — врун, но забавник первостепенный, все жив. Надеюсь, что с почтой, что вы были так любезны нам завезти, пришло наконец «Сентиментальное воспитание» Флобера, оно в этом году вышло, а до меня все еще не дошло».

«Ну как же Вы, Александр Сергеевич, решили? Поедете в Петербург?», — спросил сосед.

«Все раздумываю. Ежели в Питер, тогда и в Москву. Кое-что и в столице прельщает. Лицей посетить, посмотреть, не выводятся ли там поэты? Вяземский жив, да стал брюзгой. Соллогуб пишет, зовет».

Опять про себя вспомнил прошлую глупость, — и Соллогуба ведь пристрелить хотел в свое время, просто так, ни за что, ни про что.

«Роскошно человек живет, — заметил сосед, — такая пышность, что глаза разбегаются. Вот вы ему меня рекомендовали, и с вашей легкой руки граф отнесся ко мне с большим вниманием, просил запросто заходить».

«Да, Соллогуб, — сказал задумчиво Пушкин, — удивляюсь, ведь он моложе меня, а ко всякому но-

вому относится без интереса, а ведь и теперь у нас есть достойное внимания».

«Некрасов царит», — попробовал сосед.

Пушкин засмеялся: «Только это он напрасно, "поэтом можешь ты не быть, а гражданином быть обязан". К свободе мы обязаны, и ежели не хотим быть гражданином, то и на это имеем право. А поэтом быть, право, никто не обязан. Поэзия — стихия, с ней не поспоришь. А уж раз вспомнили о Некрасове, тут к месту и Чернышевский, чорт мне с его идеями, а вот что пишет до смерти нудно, скучно, будто бревна ворочает, это уж не писательство. На вопрос — что делать? отвечу: не пиши, коль стиль и мысли у тебя дубовые, на низах культуру не вырастишь, как жизнь на идеях, пусть передовых, не построишь, тут что-то иное надо. Впрочем, пусть и бездарен, но честен, за убеждения свои готов и наказание нести».

Завтрак, вкусный и обильный — сам Пушкин ел мало — затянулся, и уже позевывала в кулачок Н. Н., привыкшая на полчасика вздремнуть после завтрака. Гость собирался уже раскланяться, поцеловав ручку хозяйки, но тут внезапно с потемневшего неба посыпались хлопья снега, «мятель поднялась, — сказала Н. Н., — переждите, право, не дай Бог — заплутаете, а вечером тоже не след уезжать. Алина, скажи девушкам, чтобы приготовили гостю комнату угловую. А вы пока посидите в гостиной», — и повела его туда, извинившись за мужа, — «Александр Сергеевич все работает, — ну, иди, иди», — с улыбкой, как говорят ребенку: — «беги, беги, играй, мой милый». И точно школьник, отпущенный с урока, пошел Пушкин снова в свой кабинет, унося книги и письма.

Улегшись там на диван, кавказским кинжальчиком начал вскрывать конверты. Узнав почерк гр. Алексея Толстого, первым открыл его письмо. Стихи Толстого Пушкина скорее развлекали, чем восхищали, но самого поэта он любил за остроумие, барство, непринужденность и независимость мысли. «Как это он ловко историю российскую от Гостомысла до наших дней, а Прутков его прямо прелесть!». Было и

письмо в голубом конверте от Анны Петровны Керн, впрочем уже не Керн, а Марковой-Виноградской. Она, как и раньше, уговаривала его навестить ее, намекала, что и сама бы приехала, но Пушкин от свиданья уклонялся, настоящее при встрече победило бы прошлое навсегда. По слухам она жила счастливо с мужем, на 20 лет моложе ее, (первый, генерал, был на 30 лет старше). Отложив в сторону счета книгопродавцов, пусть подождут, да и другие отложил, начал просматривать журналы, зажег толстую свечу на столике у дивана, так как потемнело из-за метелицы. Сквозь чтение услыхал звон бубенцов, «неужто Тучков уехал?», — подумал. А через некоторое время, постучавши в дверь, вошла легонькая, тонкокостная Маша, неся лампу под зеленым абажуром. Башмачки ее поскрыпывали, поскрипывали и половицы. Поставила лампу на большой стол и в зеленоватом отблеске ее лицо стало похоже на русалочье. Обернулась:

«Отец архимандрит прибыл с заднего крыльца, сказал, чтобы не беспокоили. У Настасьи Яковлевны греются, чаек пьют». Фыркнула: — «Уж такой заснеженный приехал, что ужасть, говорит: сбился, да Божьей милостью куда ехал, туда и попал».

«Да зови его сюда».

«Сию минуту, барин, вот только портьеры задерну, а ставни Никита уже вышел закрывать, ужасть как холодно».

Маша все не уходила.

«Ну, чего ты жмешься? Рассказывай».

Закрывши ладошкой рот от смущенья: — «Да, барин, все вот Александр Михайлович пристает, боюсь ему на глаза попадаться...»

«Вот сукин сын, — сказал Пушкин, улыбаясь, — завтра скажу ему, чтобы бросил это».

«Уж так благодарна буду вам, барин, я то ведь промолвлена за Василия, так, как свидимся, так заместо ласкового слова от него одни попреки, а чего не знает? Стар-то ведь Александр Михайлович, нешто он мне может нравиться...»

«Так и не нравится, ни капельки?»

«Ай, что вы, барин!!» — и опять фыркнула и затопала к двери.

Старый брегет, носимый Пушкиным в кармане, показывал шесть часов, два часа до ужина. Встал, чуть-чуть потряхивая ногой, когда долго сидел, колено каменело, и подошел прихрамывая к двери встречать отца Корнилия, келаря Псково-Печерского монастыря, крепкого, высокого, еще не старого человека, говорящего на том простом выразительном языке, который Пушкин так любил.

Перекрестившись на икону, благословив Пушкина, о. Корнилий сел в предназначенное ему кресло, снял шапочку. Густые рыжеватые его волосы как ореолом его окружили. Лицо от морозного пути и от жары барского дома пылало.

«Что же это к вечеру? — спросил Пушкин, — дальше не пущу, вдруг лихие люди попадутся на дороге».

Отец Корнилий улыбнулся, сверкнул белизной зубов.

«Ну, Александр Сергеевич, на лихих людей, кроме молитвы, в случае нужды и мои кулаки помогут. Да только нетути у нас тут лихих людей, в города переселились, там им вольготнее. Но по правде, дальше ехать и не собирался. Надеялся, что позволите тут у Александра ночь провести, да с ним и его хозяйкой отужинать».

Из деликатности о. Корнилий избегал приглашения за барский стол. Порылся в кармане рясы, вытащил конверт, из конверта грамотку.

«Вот в Пскове побывавши, кое-что для вас заполучил. Смотрите, разобрать трудно, да думаю, не без интереса будет, так на первый взгляд письмена 16-го века — как будто торговый договор, может, для истории вашей и не пригодится, да думаю, а вдруг пригодится... вы вот в ваше увеличительное стеклышко всё рассмотрите, а уговор старый, все эти грамотки вы в духовной своей нашей обители откажите. Не мое ведь, хоть и мне дано было, только я думаю, у нас пока и разобрать-то некому все, что у нас такого хранится, а у вас не пропадет».

«Да откуда вы это все добываете?», Пушкин бережно держал пожелтевшую грамоту, всматриваясь в нее, разглаживая ее рукой.

«Эту вот, а потом и другие получу, получил от Прянникова Василия, племянника скопца, купца, который недавно преставился. Грех сказать, вы уж не разглашайте. Скопец-то был человек непьющий, работящий, а племянник, наследник его, в православие вернувшийся смолоду, как унаследовал от дядюшки, так и пошел кутить, деньги проматывать. Каяться-то приходит, эпитимью налагаю, да все возвращается на безобразия свои. Ну, а такие вот бумаги ему ни к чему, целый сундук где-то имеется, обещал мне дать».

«Чудесно, чудесно, вот смотришь, а напишем, вы да я, историю Псковщины».

«Большой дар у вас, Александр Сергеевич, и служите вы ему верно, ведь писатель, он и утешать и в отчаяние ввергать может, и соблазнять ничтожным и вдохновлять на полет духовный, вот с него много и спрашивается».

Хотя и далек был Пушкин от юношеского «афеизма» и когда после дуэли, думая, что умрет от начавшейся гангрены, к смерти приготовился, исповедовавшись и причастившись, с тех пор на стразтно́й всегда говел у о. Корнилия, пытливый его ум все пытался проникнуть в тайны, уму недоступные, а о. Корнилий споров не допускал, впрочем ни на чем не настаивая, — «кто сколько вместить может, то и хорошо, — главное же, чтобы злобы ни на кого не иметь». — Это Пушкину не было трудно, гневен он был, но не злопамятен, и только посмеивался над тем, что́ покойный Белинский о нем написал — «попал пальцем в небо» — а о Писареве и о Булгарине даже и не вспоминал.

«Сердиться не на кого, отец Корнилий, даже скучновато как будто, и то — прощать другим дело не трудное, как себя простить, как смерть принять, это дело другое. В молодости мне казалось умирать легко. О ней пишешь, о ней думаешь, а она все далека — как-то даже и тогда, когда чумных навещаешь».

«Это оттого, что в старости и жить трудновато, так вот одна трудность к другой ведет. На счет смерти своей и чужой, что греха таить, у вас в молодости забот много не было, а, Александр Сергеевич?»

«Да, немало я постреливал в своего ближнего».

«Это вас бес путал».

»Да не бес, а дворянская честь».

«Да много ли чести в чести, право слово, больше в прощении. А честь что, вот и царь Ирод бесу чести подвержен был и голову праведнику приказал отрубить, хоть и любил его».

«А сами то вы, о. Корнилий, ведь с турками-то дрались».

«Я-то, Александр Сергеевич, по присяге. Турки меня ничем не обидели, зол на них не был, долг исполнял, и свою жизнь отдавал безо всякой охоты к тому. Молод был, жить хотелось».

«Вот странность, ведь, может, мы с вами и повстречались под Арзрумом.

Отец Корнилий улыбнулся: — «Да я по правде и не слыхал тогда о вас, Александр Сергеевич, осьмнадцать лет мне тогда было, а вам где было меня заметить среди солдат?»

Взгляд о. Корнилия упал на книгу, лежащую на столике. Взял в руки — «Идиот» Достоевского. — «Вот эту не читал еще, не дадите ли до следующей встречи?»

«Берите, берите, она уже год тому назад как вышла, мне там один пассаж захотелось перечесть».

«А что вы думаете о Достоевском?»

Губы Пушкина поджались: «Зачастую сердит он меня, штиль не строгий, и что за герои, все чем-то схожие люди, уязвленные. Талант большой, да мне он как голос из другого, чужого мира, не то, что Тургенев иль Толстой, те хоть и моложе меня, и не похожи, да мне понятнее... Сейчас мечется Достоевский по Европе, Тургенев сказывал, не находя покоя и бедствуя, утомительный человек, во всем нервический...»

«Читать его мне трудновато, — сказал о. Корни-

лий — да все же по-хорошему он волнует, всё в глубину берет, над бездной стоишь, но небо над собою видишь. Ну, не буду вас утруждать, Александр Сергеевич, захлопотался я за два дня в Пскове, собеседник никакой, только и хватит меня, что Александра Михайловича отчитывать, к тому же от работы вас отрывать не хочу».

«Да, я в ажитации нахожусь, хоть и глупо. Получил вот известие на днях, что чествовать меня хотят, и хоть до мая далеко, а вот чего-то заволновался уже и сейчас».

«Отчего же вы так. Три месяца срок большой. Да и отчего вам не согласиться? Вам-то, может быть, утомительно, да подумайте о тех, которым до смерти хочется речи там всякие произнести, статьи написать, около вашего имени погреться... А сами вы не всерьез ставьте все это, суета, конечно. Ну, храни Господь!», — встал о. Корнилий, провожаемый хозяином до двери.

«Завтра по первопутку отправлюсь, помолившись о доме сем».

Стоя у порога, спросил Пушкин: «А зачем в Псков ездили?»

«Оброк собирал, — улыбнулся о. Корнилий, — с губернатора да с купцов: подправить кое-что в обители следует, зима-то ведь лютая, а тут еще школу для ребятишек затеял, так новые расходы».

«Отчего с меня оброк не берете?»

«Да вы и так нас не забываете, Александр Сергеевич».

«Нет, уж на школу кому-кому, а мне, академику, следует дать. Весной сам приеду экзамен ребятишкам учиню, только условие, чтобы пушкинских стихов они мне не читали...» Подошел к столу, выдвинул ящик где лежали никогда не пересчитываемые им деньги. — «Тут у меня заветное, от жены прячу, — засмеялся детским смехом, протягивая сложенную ассигнацию, прибавив строго, — и никому ничего! Сами знаете, одна рука про другую забыть должна».

«Спаси Господь», — сказал о. Корнилий. Пушкин,

взяв свечу в тяжелом медном подсвечнике, посветил гостю, уходящему в темноту коридора.

Не успел усесться, как опять гонг. Гребешком расчесал бакенбарды и пригладил волосы, и пошел в спальню умываться. В зале Алина играла на рояле. Постарался угадать, что она играет, особой музыкальностью не отличался, и скучал в былое время на концертах — «царицы муз и красоты». Все-таки узнал Берлиоза, его встречал у Глинки и у Смирновой. Берлиоз совсем недавно умер и снова вошел в моду.

«А мы по тебе соскучились, друг мой, — как каждый вечер промолвила Натали, — Алина с Петром Павловичем в шашки играли, а я вышивала, скоро бержеру обить можно. А потом читали вслух «Мистерии Парижа», очень развлекательно. Вот еще лежит у меня «Дама с камелиями», да боюсь, что Алине это рановато».

Алина вспыхнула под взглядом Пушкина. «Наверное уже прочла, — подумал он, — право мила, не то что красива, зато ей 16 лет».

Лампа над столом закоптила, и лакею пришлось встать на стул, чтобы ее заправить.

После ужина перешли в гостиную попить на сон земляничного чая. Сосед заговорил о судебных реформах 64-го года, очень его интересовавших.

«Я встречал молодого Кони, кажись, в 66-ом году, секретаря Петербургской судебной палаты, умница, далеко пойдет. А право, радостно было слышать государевы слова — право и милость да царствуют в судах».

«Дай Бог ему жизни, — воскликнул Тучков, — он новые пути раскрывает России».

«Да много у нас и темных, те на другие пути Россию тянут, и реформы свыше им не по душе, а от бунтов, так нашему характеру любезных, упаси нас Бог. История учит их бесполезности, хаос не только у нас в душе, как Тютчев пишет, шевелится, но и в общественной жизни».

В 10 часов, посмотрев на свои эмалевые с бриллиантами часики на золотой цепочке, спускавшейся

на ее высокую грудь, Наталья Николаевна сказала: «А не пора ли нам отдохнуть, — и к мужу: — Не засиживайся долго», поцеловав его в лоб. Алина, подошла ему к ручке.

«Ну что же, еще один денёк прошел», — сказал Пушкин.

На звоночек вошел поджидавший дворецкий, бывший крепостной Чириковых, человек положительный, но иногда и запивающий. Как светоч, он понес перед барином канделябр с двумя свечами, по коридору, покрытому дорожкой из пестряди.

В кабинете теперь стоял на геридоне граненый графин с мадерой и рюмка богемского хрусталя. Тут же в вазочке леденцы и клюква в сахаре на блюдечке. Пушкин сласти любил. Дворецкий удалился. И такая настала тишина, только сверчок сверлил молчание ночи. И такая свобода! Пушкин сел в кресло перед столом, подвинул лампу, перебрал на подносике карандаши и гусиные перья, выбирая оружие труда, проверил, есть ли чернила в чернильнице, вытер перо холстяной тряпочкой, так с пером в руке и замер на несколько минут. Стены комнаты раздвинулись и открылись на то, что таилось в нем весь день, ожидая этой тишины, чтобы к нему войти. Пульс участился. Снова просыпалась, стирая годы, чудодейственная сила в нем живущая. Секунда, минута, вечность — блаженство, когда слушаешь одно лишь вдохновенье. Потом настанут часы труда, забота ремесленника, когда уже простывший, трезвый Пушкин будет проверять умом то, что вырвалось из подсознанья, и вычеркивать и менять, искать снова и снова, лучший ритм, лучшее слово, определяя потоку его русло. «Блажен, кто словом твердо правит и держит мысль на привязи свою...»

Снег все кружил и кружил над полями, лесами, над Бончаровым, над русской землей, окованной белой дремотой, над оледеневшими озерами и реками. Спал гранитный Санкт-Петербург и златокупольная Москва, и бедные деревни, и казалось, что худенький человек с живыми глазами, склоненный над белой

бумагой, с пером в руке, отгадает судьбы в них живущих, подведет итог их злодейств, величия и святости, откроет смысл русской истории и русских жертв, и заснет — уйдет — только тогда, когда откроет своему народу пути надежды и добра.

«Новый Журнал», № 110
1973 г.

ЛОСКУТКИ

В Доме для престарелых, где жила Амалия Н., было даже уютно и хотя, по кротости ее характера, сожительница по комнате ядовито ее подъедала, Амалия была там по-своему счастлива.

В жизнь насельников Амалия, собственно говоря, не входила. Ссоры, дрязги, зависть и ревность (а это бывало, и даже придавало соль сонному существованию) оставались вне ее. Худенькая, с редкими седыми волосами для удобства коротко остриженными, Амалия чаще всего сидела в своей комнате, хотя ходить еще могла, смотрела в окно на теперь желтеющий сад, пожевывала губами, плотнее куталась в старенький платок, когда сожительница на зло ей открывала окно и даже не старалась уловить то, что та бормотала. Глушинка была для Амалии большим удобством.

За кротость нрава дирекция и прислуга ее баловали и частенько приносили ей в комнату оставшийся кусок сладкого пирога, зная что она любит сладенькое, а иногда, в вазочке, цветок из сада, как вот эту сентябрьскую, вялую розу, которую она гладила сморщенными пальцами. Никто не знал, о чем она

думала, и о самой Амалии мало что было известно.

Где прошла ее молодость, как попала она в эту страну, в этот Дом, есть ли где-нибудь на каком-нибудь континенте у нее родственники или друзья, образованная она или нет, никто этим не интересовался, как не интересовалась и она теми, кто жил взбудораженно, растрачивая в спорах и обидах накопившийся от безделия остаток жизненной энергии.

«Выжила из ума», — говорили некоторые об Амалии, но напрасно: голова у нее ясная, потеряла только вкус к разговорам.

Равнодушие ее казалось странным и все помнят, например, что, когда в Доме случился пожар и все очень перепугались и, хотя опасности не было, все долго переживали этот случай, корили дирекцию за неосторожность, волновались — а вдруг опять такое случится и все сгорят — кто-то, зашедший в комнату Амалии, рассказал ей об этих опасениях, Амалия то ли ничего не боялась, то ли не вслушалась в то, что посетитель ей кричал, она только улыбнулась благосклонно и вежливо. Посетитель махнул рукой, решив, что ей все равно — жить или умереть. Пожалуй, это так и было, а может быть терпения у Амалии хватало на ущемленную, без будущего, жизнь.

Амалия никогда не расставалась с каким-то мешком, не очень большим и не очень маленьким, когда-то расшитым многоцветной шерстью «о пети пуан» как гобелены. Над этим в Доме подшучивали: может, средь мягкого какого-то вздора в мешке запрятаны бриллианты? Хотя кое-какие золотые вещицы Амалия, поступая в Дом отдала под расписку дирекции (как и другие пенсионеры, от греха подальше) — кольцо с изумрудом, золотую цепочку и медальончик, неизвестно что хранивший в своем сердце, да нитку мертвого жемчуга.

С мешком брела Амалия в столовую, когда хорошо себя чувствовала, или, при поддержке, ковыляла в сад на солнце. Открывала же она мешок только когда сожительница, грохнув дверью, выплывала из комнаты смотреть телевидение. Амалия знала, что

часа два она не вернется. Вот тогда-то, как-то подобравшись в своем кресле, Амалия неторопливо вытаскивала из мешка один за другим какие-то лоскутки, разноцветные, разношерстые и каждый из них долго и любовно держала в руках.

С каких пор она стала собирать эти маленькие кусочки бывших своих платьев, не всех, конечно, а только тех, которые для нее знаменовали что-то значительное, а иногда и просто приятное? У других фотографии, вырезки, предметы, альбомы — у Амалии лоскутки для памяти. И зрения не надо — на ощупь...

Кусочек пожелтевшего, пергаментно-сухого атласа. Свадебное платье. Как она была красива, когда с отцом входила в сияющую кирку и шлейф нес за ней маленький паж, давно умерший племянник. И как она была глупа и застенчива! Гудел орган, на котором играл, с отчаянием, отвергнутый поклонник. Корсет останавливал дыхание, кругом были люди, лица, как нечто собирательное и уже стертое памятью. А после банкета, платье было сброшено, привидением лежало на кресле. Она, с малознакомым человеком, уезжала в Италию.

За атласом в руку попалось что-то простое, ситцевое — из мешка, как из лотерейного тамбура, вытягивались билеты наугад — совсем из другой эпохи. Амалия вспомнила синее с красными крапинками, а ля шинуаз — платье деревенское. И вот заскрипели уключины лодки на озере, с берега кричали, лодка медленно шла среди кувшинок и запах тины поднимался от воды, мешаясь с запахом соснового, солнцем пригретого бора.

Пальцы все копошились внутри мешка, роясь в прошлом. Голубое, тяжелое, с золотыми нитями. Нити наверно почернели, но Амалия хорошо помнила, что в этом сияющем, королевском платье она выходила на эстраду, в первую минуту задыхаясь от страха перед черным провалом зала, но затем вдруг через страх прорывалось и неслось в мир то, что люди назвали музыкой. Как торжественно подымался ее голос в концертном зале, как легко выходило дыхание, пе-

реходящее в пение, в призыв, в биение крови, становилось самой жизнью...

Мир отвечал плеском рук, грохотом аплодисментов, криками б-ии-сс! б-ии-сс! и анкор! анкор! и, несомая этой благодарностью мира, Амалия пела и пела, пока не возвращалась, как боец после битвы, изнеможённая в свою ложу, где ждали цветы и поклонники.

Голубое неожиданно сменилось чем-то — наверное черно-синим. Это уже была не парча, а добротное тонкое сукно. В таком тайоре она ездила к мужу, сначала на фронт, затем в госпиталь, и, хотя осталась протестанткой, по-православному крестилась, прежде чем войти в палату, улыбкой стирая страх перед раненым и быстро-быстро говорила ему: «Ну какой ты молодец! Какой у тебя хороший вид. Вот я скоро за тобой приеду».

Лоскутья не повиновались времени. На удочку попадались то кусочек шелка с кружевной прошивкой — распашонка, в которой она лежала после рождения сына, то английское крепкое сукно, от амазонки — и вот, после надушенной спальни, неслась Амалия по полю великокняжеской охоты. Мчатся всадники, вытягиваются стрелой борзые, воздух светел и чист и ей совсем не хочется, чтобы лиса была убита, но она вошла в игру и тоже что-то кричит и вуаль, привязанная к ее цилиндру, вьется за нею как дым...

В Вене, после концерта, она была приглашена петь в Шёнбрунн и императрица Елизавета со вниманием знатока оглядела присевшую в глубоком реверансе Амалию, а было на ней вот такое нежно-сиреневое, все сплошь вырезанное платье на чехле из розового атласа...

Попался еще лоскуток, Амалия не сразу его на ощупь узнала, а узнав — улыбнулась. В этом платье она была в Париже на Всемирной выставке, куда повезла (пожалев ее) свою некрасивую двоюродную сестру из Риги, девушку серьезную и неулыбчивую. Амалия увлекла ее в Луна-Парк и там, на трясущихся мостках, какая была умора! Она от смеха чуть не

задохнулась, — кузина растеряла все свои «шиши» — фальшивые букольки модной тогда прически.

В этом кипсеке, как в семейном альбоме, Амалия сохранила не только свидетелей прошлой радости, но и прошлого горя: черный креп по умершему сыну и, с розовой вышивкой, темносерый атлас последнего концерта — голос ее уже пропал... Не только свидетелей счастливой и честной жизни, но и двух незаконных увлечений, в которых она все хотела раскаяться и не могла, хотя оба принесли ей: первое — развод с мужем, а второе — мучения, доведшие до отчаяния, и к тому же до разорения.

Последние годы, самые тягучие, были годы потерь, обид и бедности и уже не приходило на ум отрезать кусочки от изношенных платьев.

Глухие, командорские шаги застучали по коридору — тучная сожительница возвращалась. Пробудившись от воспоминаний, Амалия торопливо засовывала обратно в мешок урожай вечера.

Разрозненные, пестрые осколки неосознанной жизни не могли стать панорамой чего-то целого и законченного. Мельтешили в них события и лица, наступая друг на друга, друг друга вытесняя. Не сливалось в целое лоскутное царство, копилка счастья и несчастья, но, вероятно, где-то какая-то нить, его связывающая, и выявлялась, придавая ему смысл, облекая в гармонию.

Амалия об этом не задумывалась. Как спускаются шторы на окне, закрылось ее лицо, застыло в обычной полуулыбке.

Шнурки мешка были затянуты. Она побрела к кровати и положила мешок под подушку, вежливо пожелав сожительнице покойной ночи.

«Новый Журнал», № 113
1973 г.

ЧУЖОЙ В ГОРОДЕ

Город, в который он впервые приехал, Лорис знал до последней черты. Его так долго подготовляли прежде чем послать сюда, что он знал все закоулки, все лабиринтовые изгибы улиц, названья гостиниц, кафе, адреса городских библиотек, музеев, кабаков и концертных зал, городских боен, скверов и памятников. Любой прохожий мог спросить у него любую справку и Лорис, с опытом коренного жителя, мог дать ему ответ. Он **узнавал** все, что видел впервые.

Выйдя с вокзала, неся легкую дорожную сумку, он вошел в гостиницу и попросил комнату (даже акцент не выдавал его происхождения), записал на фишке свое (не свое) имя, заглядывая небрежно, для проверки, в свой (не свой) паспорт... Умывшись, освежившись, он сразу вышел в город.

Лето только начиналось. Аллеи зеленели, расходясь звездой от главной площади и листва зеленым отсветом покрывала прохожих. Лорис чувствовал себя в отпуску. Впрочем, было и то легкое волнение, которое всегда наполняло его радостью действия. В сущности, по сравненью с другими миссиями, это была детская игра.

В парке детишки, одни с рёвом, другие с глубокой серьезностью ездили на пони или в колясках, запряженных козами; вздымались качели, ветер подгребал песок с площадки, где был установлен каток. Из-за кустов несся хрипловатый голос местного Петрушки и раскаты детского смеха. На железных стульях у фонтана сидели старики с палочками и молодые матери присматривали за колясочками, где дремали румяные младенцы. Влюбленных же еще не было, не то время. Все дышало беспечностью и простотой, почти буколической.

За парком шли старинные кварталы и по узким их улицам, запрещенным для автомобилей, лихо носились велосипедисты. А вот и церковь. Ее Лорис тут же узнал — Св. Цецилии. Он вошел в мраморную прохладу. Внутри все сияло барочным золотом. Ангелочки трубили в золотые трубы, святые, окруженные золотыми стрелами нимбов, застыли в жеманных позах, алтари сверкали от свеч... Протестант Лорис остро чувствовал, что вот тут он был не совсем у себя, а в чужой и прекрасной стране. Он сел осматриваясь и восхищаясь, как гость попавший неожиданно на праздник. А сверху гремел орган, воспевая блаженство Рая или гром Страшного Суда.

Церковь же была пуста, как будто ее променяли на сады и парки, а небесное сиянье на музыку-поп. Орган замолк и вскоре кто-то, хоть и без сутаны, но, вероятно, священник, вышел из притвора к воротам. Вышел и Лорис из одного золотого мира в другой. Становилось жарко. Он сел в кафе и решил заказать блюдо со странно звучащим названием, так как знал, что это всего-навсего телятина под белым соусом. Как только на ратуше пробило 12 часов, сразу наполнились и бульвар, и кафе людьми, веселыми и беспечными от хорошего такого дня.

Как лист, ветром занесенный, вошла и села за соседний столик черноволосая девушка. От фиалковых ее глаз Лорис почувствовал волнение. Все в ней было хорошо: посадка головы, живой улыбающийся рот, умные руки, так ладно и проворно отодвинув-

шие чужой стакан, взявшие карточку меню. Девушка посмотрела вокруг, улыбнулась и ему, Лорису, просто потому, что не могла не улыбаться и сказала, ни к кому не обращаясь, «чудесный день». И в этой короткой фразе насторожившийся Лорис угадал свою соотечественницу, не осилившую еще местного наречья, студентку или «опэр». Тут вошел молодой размашистый парень. Обняв девушку, он чмокнул ее над ухом, сел рядом, не выпуская ее руки из своей, и она засияла только ему.

Гудя, покатил вдоль бульвара полицейский фургон, не обратив на себя ничьего вниманья. Всё было обычно, по-летнему буднично и только в подсознании погребенное дисциплиной мысли и чувств шевелилось у Лориса что-то похожее на творческое волнение. Свидание было в четыре часа. Без пяти четыре Лорис вошел в музей естествоведения, запрятанный среди отцветающих каштанов. В залах было пустовато. К выходу торопилась какая-то школьная экскурсия, не очень впрочем оживленная, как будто животный мир прошлого городских детей не очень интересовал. Хотя план музея был Лорису известен, он, как завзятый турист, купил у кассы путеводитель и не спеша разглядывал, по дороге в нужную залу, чучела заморских птиц, и особенно чудесно отпрепарированных, начисто в этой стране уничтоженных орлов. Так пришел он к тщательно собранному скелету ихтиозавра. Вряд ли все позвонки, все кости были у этого чудища его природными, недостающие были явно заменены пластмассовыми подобиями. Из другого зала подошел к ихтиозавру человек, которого он, вероятно, и должен был здесь встретить. «Уж наверное он, — подумал Лорис, — очень типичен для международного чиновника, с чистым, скучающим, каким-то холостым лицом».

«Ничего себе комнатная собачка», — заметил вполголоса Лорис. Незнакомец отозвался: «Комнаты должны быть подходящих размеров». Зная что ни ихтиозавра, ни неправдоподобно обтянутого чистой, новой кожей и застекленного мамонта посетители на-

верно не унесут, сторожей в зале не было. Тут было, как предвиделось, удобно передать портфельчик, в котором, впрочем, как будто ничего предосудительного и не было: книжечка по искусству, железнодорожный путеводитель, репродукции местных красот природы, где на полях были кое-какие заметки, как будто относящиеся к нужным покупкам. Обменявшись еще двумя-тремя словами по поводу допотопной фауны, встретившиеся разошлись. Лорис не спеша пошел по стрелам, указывающим выход, как когда-то скаутом следовал за следопытскими приметами.

И вот Лорис снова на улице, настроенье его изменилось. Уж очень он презирал тип людей таких как тот, кого он только что встретил. Отлично забронированных всякими охранными грамотами, отлично оплачиваемых, глубоко равнодушных к делу, к которому они приставлены, а следовательно — всегда могущих перекинуться туда где выгоднее, спасая свою шкуру. Улицы теперь были оживлены, конторы закрылись, велосипедисты сновали между машинами, пешеходы толпой расходились по домам. Лорис без удовольствия закурил, местный табак был ему не по вкусу; казался кислым, как местное пиво. Вечерний ветерок несся по городу, чистому и добротному, умело охраненному от высотных зданий.

Поезд его уходил только утром. В гостиницу возвращаться не хотелось. Лорис вошел в синема, в холодок и темноту. Узнав фильм — улыбнулся. Под разными названьями, с разными дубляжами он попал на него в третий раз, подумал: подремать, что ли? Но начнется пальба, крики, страстное мурлыканье полногрудой актрисы. Мысль нехотя вернулась к скучающему чиновнику, встреченному у ихтиозавра.

Работа Лориса была опасной и теперь, а в ранней молодости еще больше. Не все было хорошо из того, что он делал, но оправданье все же было. Он, Лорис, верил, что со злом надо бороться и если нужно — жертвовать собой. На экране мелькнуло и скрылось чье-то женское лицо, напомнившее ему о Елизавете. Где она теперь? В Камбодже, в Китае, в СССР со

своим фотоаппаратом, так талантливо запечатлевающим не глав правительств, не заслуженных генералов, а просто мелкий люд во время его испытаний или, другими не замечаемых, радостей. Быстроногая, живая, преданная своему ремеслу, скрывающая под острословием доброту своего сердца... Судя по удивительной тишине, воцарившейся в зале, дело дошло до эротической сцены, гвоздя фильма. Скучновато — разве что для подростков, импотентов или стариков. Лорис зевнул и вышел, наступив кому-то на ногу.

Такси он не взял. Дойдя до площади Освобожденья (где только таких площадей не было на всех пяти континентах!), Лорис сел в автобус и тот быстро привез его к реке, где уже зажглись на берегах разноцветные фонари ресторанчиков. Их было много. Лорис выбрал тот, что назывался — «У рыбаков». Профессиональный взгляд его отметил всех сидящих за столиками пока он, неторопливо, шел между ними — хоть он и был уверен, что слежки за ним не было. Вдруг он увидел Фогта.

Фогт сидел под цветущей липой, в ее благоуханьи.

Они не виделись года три. Бывали раньше в одних и тех же делах, то в Азии, то в Африке, то в Европе. Но вот так, просто, подойти было нельзя. Может быть Фогт ждет кого-то. Лорис постоял, выбирая как будто столик, прошел мимо Фогта, наконец сел напротив него. И тут Фогт его увидел. Он тоже и виду не подал, что его узнал. Только, взял свой стакан белого вина и начал кругообразно вращать его по столу. Это означало, что он свободен. Только тогда Лорис подошел и сел рядом с Фогтом, не пожимая ему руки — это было не обязательно.

— Отдыхаешь?

— Да.

— Я тоже. Что нового на свете?

— Будто ты не знаешь — на свете все то же: неразбериха и глупость. Но у меня кое-что заваривается. — Фогт хлопнул в ладоши и розовощекий офи-

циант в розовой рубахе под бархатным жилетом торопливо приблизился.

— Пожалуй, пора поесть, — сказал Фогт.

— Можно и поесть, — согласился официант, улыбнувшись. — Например «рыбу по рыбацки», наша специальность. А пока она будет готовиться, советую яичницу с грибами. — Его английский был плох, но понятен.

— Давайте. Будет невкусно, будем вас ругать.

Официант рысцой побежал к домику, раскрашенному как в сказке.

— Что же это у тебя заваривается? — спросил Лорис.

— Вот открываю некое агентство, ищу таких людей, как ты, и только тех, кого хорошо знаю. Сам знаешь — всё обмельчало. Я это двадцати лет от роду понял, когда наша контрразведка не ухлопала на Мюнхенском балконе всю тройку: Чемберлена, Даладье и Гитлера. Этих пожалели, а миллионы других не пожалели. С тех пор все еще поглупели... Политика делается на площадях, диктуется криками масс да подсчетом голосов будущих избирателей. Дипломаты танцуют перед буфетами, главы государств летают в гости друг к другу, произнося дружественные речи. Все чего-то боятся, но никто ничего путного не делает, а секретная работа — под контролем всяких там говорилен, сенаторов и парламентов, как будто она может в таком случае остаться секретной.

— Можешь не продолжать, всё это я знаю не хуже тебя. В официальных учреждениях остались только цыплята да стервятники, а вот, что ты придумал — это мне неизвестно.

Они закурили пока официант раскладывал приборы. Заказали еще вина.

— Не смейся, — сказал Фогт, — я чуть-чуть пофилософствую. Философия активизма, нравится тебе такое? Проще: устроить дела мира можно только личной акцией решительных и смелых людей. Только они могут дать форму и смысл не только своей судьбе, но и судьбе народов и государств.

— Интересно, — сказал Лорис, — продолжай. Ты видишь, я не смеюсь.

— Так вот, почему не создать такой организм, независимый от правительств? Не бойся, правительства будут вынуждены к нему прибегать. Дело будет делаться, а ответственности они, эти правительства, за неудачу или даже за удачу, нести не будут. Прибавлю, что мы не обязаны принимать все заказы, а только те, которые считаем полезными. — Совсем недурно придумано, — сказал Лорис. — Пью за твое здоровье.

— Человек 15 у меня уже есть. Молодцы все первый сорт, да ты многих знаешь, бывшие ВКР, так называемых, цивилизованных стран. Есть и штаб-квартиры, где надо и клиенты уже набегают... Тебя только не хватает. Я подумывал, да не знал, куда тебя занесло.

— Видишь, — сюда, чтобы с тобою встретиться.

— Ты свободен?

— Пока нет, — сказал Лорис, — смогу быть в твоем распоряжении через три месяца.

— Прекрасно. Запомни адрес, — Фогт несколько раз повторил координаты. — Запомнил?

Лорис улыбнулся. — С детства играл в игру Кима.

Яичница была принесена, она была пышной, золотилась под фонарями сада. За каким-то столом кто-то запел на местном узыке и песнь была подхвачена, нестройно, другими голосами.

— Ты понимаешь о чем они? — спросил Фогт.

— Понимаю, что-то о рыбаке и рыбалке.

Фонари легко качались от речного ветра, бросая то зеленые, то синие, то красные блики на деревья.

— Знаешь, — сказал Лорис — я повторю. Я вот недавно себя спрашивал, и что это меня сюда занесла нелегкая, а теперь знаю: чтобы тебя здесь встретить.

Фогт засмеялся, как смеются люди его круга — негромким баритоном, заглушенным оголтелым пеньем. Теперь уже пел весь сад что-то очень игривое.

— Попадешь в очередную переделку, вспомнишь эти слова: я ведь тебе не министерское кресло пред-

лагаю, а как Черчиль — пот, слезы и кровь, но, возможно, и победу.

— Мы с тобой сейчас до красивых слов докатимся. Смотри лучше, что к нам приехало? — Парень в розовой, ставшей от зеленого света лиловой, рубахе, поставил перед ними гору рыб и какой-то остро пахнущий соус.

— Недурно, недурно, — приговаривал Фогт, — я, право, проголодался.

— Тут это блюдо полагается есть так, — объяснил Лорис, — смотри: берешь рыбу (брось вилку), — макай ее в соус и ешь вместе с головой. — Соус обжег ему язык и он закашлялся.

— Академическое образование! — засмеялся Фогт. — Дедукция: ты здесь недавно. Как в университете, знание есть, а практики нет.

Они сидели долго, в эфории товарищества. Сад понемногу пустел, начали мигать фонари. Официант принес счет. Лорис сунул, было, руку во внутренний карман пиджака, ища кошелек.

— Ты это брось, — сказал Фогт, — сегодня ты мой гость и как гость уходи первым.

— Спасибо. Все это вышло очень славно. Когда встретимся, ты будешь моим гостем. — Лорис встал и что-то зашуршало в кустах позади Фогта, верно кошка, бродившая между столами.

Лорис пошел не совсем твердым шагом к выходу, уже тускло освещенному, и тут какой-то новый звук послышался из-за угла, где сидел Фогт. Совсем не громкий, слегка похожий то ли на звук пробки выбитой из бутылки пеной шампанского, то ли на громкий щелк языком и, сразу отрезвевший, Лорис понял: выстрел с глушителем. Отшатнувшись на секунду в тень, он оглянулся. Фонарь все еще качался над столиком, но ни Фогта, ни его стула не было видно. Белела наполовину сползшая со стола скатерть, как будто кто-то потянул ее вниз.

Помочь он не мог, не имел права. Лорис быстро выскользнул из ограды и торопливо, но не бегом, пошел к берегу. К счастью, тут еще бродили группы

гуляк. Он пристал к одной группе, уже нарочито пошатываясь и бормоча ругательства на местном языке дошел до остановки автобуса. Ему повезло, автобус как раз подходил. Он вошел в него, заплатил за проезд и сел на заднее место, икая и держа платок у рта, так искусно изображая пьяного, что два его соседа переместились подальше.

Кто стрелял? Что делал Фогт в этом городе? Явно хотели убрать именно Фогта и ждали чтобы он, Лорис, ушел.

Автобус прикатил в заснувший город. С его теперь слепыми фасадами он весь омертвел, как заброшенный. Уже не притворяясь пьяным Лорис вошел в гостиницу, иногда оглядываясь, но сразу же убеждаясь, что за ним никто не следит. В гостинице сидел ночной сторож, приветливый глуховатый старичок.

— Мне придется сейчас же уехать, — сказал Лорис, — комната № 12.

— Да как же так, у меня вот помечено, что вы выбываете завтра?

— И хотел бы, да вот дело такое, позвонил из ресторана домой, жена рожает, ожидали только через две недели.

— Бывает, бывает, всякое в жизни бывает, — согласился старичок. — Да вы не волнуйтесь. Если бы люди не рождались, так и умирать было бы некому. А вы откуда?

— Из Нейса. Ну, я пойду соберу свои вещи.

Когда Лорис спустился, старичок листал путеводитель... В Нейс через десять минут уходит только кукушка, — сказал он. — Мне все равно! — Лорис заплатил и дал на чай. Он пересек мертвую площадь, в конце которой мутнели огни вокзала. Сонный кассир протянул ему билет на поезд, который шел не в Нейс, конечно, а в противоположную сторону, к границе, но до нее не доходил. Вагоны все были 2-го класса и ехали в них рабочие ночной смены. В купе, куда Лорис вошел, была и одна женщина с ребенком. «Курить здесь нельзя», сказала она, когда Лорис вы-

тащил пакет папирос. Он перешел в другое купе, поезд сразу двинулся. Скучный прижелезнодорожный пейзаж медленно плыл, с его семафорами, лебедками, черными массами товарных вагонов, а затем настала темнота ночных полей.

Фогт жив или мертв? Завтра может быть он прочтет в газетах о непонятном убийстве или покушении, и хотя имя жертвы, конечно, будет не Фогт, а какое-то ему неизвестное, все же догадаться ему будет не трудно. Может выживет, вот хорошо бы было. Славный парень, свой человек! Лорис знал, что если бы он был вот так же, при Фогте, ранен или убит, Фогт поступил бы так же как и он, ушел не придя на помощь. Таков закон их работы. Координаты, данные ему Фогтом, Лорис запомнил, туда и сообщит при первой возможности.

Поезд шел медленно, подрагивая, останавливаясь на каждом полустанке и никакой контроль в него не входил. Ледяное спокойствие владело Лорисом и, под его корой, жалость к Фогту. На последней станции он вышел вместе с десятком других пассажиров. Тут был уже не город, а поселок, через который ночью и на заре проезжали грузовики, везя всякие товары в соседнее государство. Лорис прошел к газолиновой станции, ярко освещенной неоновыми знаками. Выпил кофе, поболтал с придурковатым служащим «ошибся поездом, не туда попал, вот дурацкая история!» Попросил первого шофера грузовика, нагруженного ящиками овощей, подбросить его на ту сторону. Тот согласился.

— Дьявольски устал, — зевая бормотал Лорис, садясь рядом с ним — рад, что не я водитель, а вы. Ну никак не мог бы управлять сейчас, прямо рта открыть не могу...

На границе, проверив таможенные бумаги, никто не заинтересовался спящим пассажиром. Переехав границу Лорис протянул бумажку шоферу, вошел в кафе где вымылся и побрился. В уборной же порвал свой (не свой) паспорт, и вытащил настоящий, ловко запрятанный. Теперь он был просто чудаком-тури-

стом. Где-то тут, как помнил Лорис, были развалины средневекового монастыря. Он решил его осмотреть, наняв велосипед. До поезда было еще долго. Там в развалинах можно будет и выспаться.

Стаи голубей летали над деревней, открывалась булочная, деловито все обнюхивая бежала черная собака. Мир сиял первозданной чистотой, удивительным беззлобием и прочностью.

«Новый Журнал», № 114
1974 г.

ОДИНОЧЕСТВО

Памяти Алеши

Тело ломило, в ушах гудело от хинина, озноб был так силен, что зубы колотились о кружку чая. Все вокруг колыхалось, двигалось фантастическими тенями, полог мустикера расходился морской зыбью и бой, стоявший около, то приближался, то удалялся, уменьшаясь и вырастая в объёме. Хотелось уйти, выползти из палатки и зарыться в ночь как в нору.

А под утро припадок прошел, осталась одна слабость, пустота мыслей, пустота тела. Как всегда на экваторе, ночь сразу без промедления сменилась днём, после краткого, сказочного мига рассвета с нигде не существующими лиловыми и оливковыми отблесками зари. Светал, впрочем, только высокий небесный коридор (пролёт) между двумя шпалерами темного, непроницаемого леса. В зеленоватом мраке все оживало. Передразнивая животных и себя кричали попугаи, визжали обезьяны, что-то копошилось и прыгало, трещала ветка, шелковисто спадала лиана. Нет, львы не рыкали, не дурак лев чтобы подойти к человеческому жилью.

На узкой площадке, расчищенной для привала, рас-

положились носильщики в блаженном ничегонеделании.

Самуил поставил раскидное кресло (шез лонг) и помог Никите до него добраться. Капита, крича что-то для поддержания своего авторитета, доставал маньоку, чикуангу и вяленую рыбу и привычная эта вонь как то радовала, как будто ночью, в полусознании Никита готовился умереть, — и жизнь утверждалась обычным, бытовым.

Уже три дня как стоял он на этой площадке рядом с деревней. Кто-то где-то решал, надо ли расширить площадку, а может быть и дорогу, узкую трассу где двум машинам не разъехаться, годную только для носилок или мотоциклета. Недавно проведенная, с усилием поддерживаемая, казалось на неё ежечасно наступал лес. Оставь без присмотра месяцев шесть — всё снова зарастёт, будет проглочено зелёным потопом — не останется и следа. А сколько было работы, страданий, смертей, чтобы её проложить.

Неподалёку была река бурливая, мутная, полная крокодилов, часами отдыхающих на её желто-бурых берегах. Они лежали как стволы ожидающие сплава, разинув пасти и птицы-зубочистки чистили страшные желтые зубы. Самуил, воспитанник миссии, человек бывалый, улыбаясь своими узорчато подточенными, как полагалось его племени, зубами, сообщил, что нарядил рабочих за водой. Они подходили поплёвывая бетелем, таща на головах жестяные бидоны из-под бензина, пот блистал на черной коже лоснящейся от пальмового масла, синие тряпки едва прикрывали бедра.

Желтая вода была влита в жестяную походную ванну, Самуил бросил в неё горсть кристаллов перманганата и Никита сел уже в бурую, теплую, отвратительную влагу. Ничто так не забавляло носильщиков как нагота белого. Гуторя и смеясь наблюдали они за худым, мускулистым Мунделе, как и все белые пахнувшим мертвецом *). Нисколько не освежен-

*) Т. е. ничем не пахнувшим.

ный Никита вернулся в кресло. Кой как съел пол папая и один банан, выпил кофе — вода для еды пропускалась через походный фильтр — и задремал. В дрёме смешивалось все, что хранилось памятью, но казалось памятью снов. Юнкерское училище, ударный Корниловский, Ледяной поход, Перекоп, Галлиполи, рудники Болгарии, затем Бельгии — сны сменившие другие сны: кудрявый подросток с братьями гребет вокруг Волги, дивное водяное пространство, сочные зелёные берега, весёлая свежесть природы, и дома мать, поджидающая рыболовов. Мать не сон, мать существует, на другой планете, в какой-то Кашире, раз или два в год он получает письма, идущие к нему бесконечно долго, из Каширы до Бельгии месяц, из Антверпена до Матади пароходом три недели, от Матади до... до того места где он будет находиться месяц или два, или три. Мать благодарит за присланные деньги, засекреченными словами его благословляет. Открывая письмо, Никита не знает, не от мертвой ли оно пришло.

Самуил играет на занзи сидя около Мунделе, чтобы все знали что положение его особое. «Женщинам нельзя играть на занзи — говорит он, увидя, что Никита на него смотрит — груди упадут». Он из нижнего Конго, как и носильщики. В деревню они ходят неохотно, тут племя враждебное, — Бангала, — могут и прикончить.

Полуденная жара, всё затаилось, «даже слоны, — говорит Самуил — головы прячут в тень»... Тени на площадке нет... Узкая полоска её теперь с одной стороны леса, там и валяются как мертвые, кто раскметавшись, кто согнувшись в клубок, носильщики. Спит и Никита, надвинув на лоб шлем.

«Смотри, Мунделе» — говорит Самуил. Рядом с ним стоит мальчик из деревни, прижавши к круглому животу принесенную на продажу мангусту. Доверчиво и дружелюбно маленький зверёк лежит между розоватыми ладонями.

«Дай ему, что он просит», — говорит Никита и мальчик убегает, может быть боясь, что носильщики

за ним погонятся и отнимут монетки. Мангуста так же доверчиво лежит на коленях Никиты, что-то урчит, мурлычет, подставляя свое голое еще брюшко для почесывания. Крысиное тельце млеет от восторга, Самуил, сидя на корточках, рассказывает, что это м'бизи на тото (земляное мясо — рыба на этом бедном языке м'бизи на маза) может убить не только удава, но даже льва, «она прыгает ему на загривок. Лев трясётся, рычит, но сбросить её не может, а она прокусывает, смотри какие у неё когти и зубы, ему загривок и он околевает».

День тянется, но ни Никита, ни носильщики не скучают. Никита от слабости, носильщики от радости что работы нет.

Как опускается штора на окне, как затягивается занавес в театральном зале, ночь очерняет воздушный путь над трассой. Чуть чуть посвежело. Потухшие костры снова зажглись. Вот уже зазвучал отбиваемый крепкими пальцами и ладонями на колобасах (пустых тыквах) и на пустом бидоне, четкий, синкопический, настойчиво сексуальный ритм Африки. И повинуясь его призыву, едва встав уже напевая, дергая плечами, виляя бедрами, образуют круг вокруг костра, носильщики во главе с капитой. Доедая курицу пили-пили, приготовленную для Никиты, Самуил сперва по жестяной тарелке отбивает навязчивый ритм, наконец не выдерживает и присоединяется к раденью. То освещаемые как чёрти на средневековых рукописях адским пламенем костра, то поглощаемые темнотой танцующие кажутся Никите наваждением. От чего они освобождаются этим пением-заклинанием, этой пляской, которой они не могут противостоять?

Один за другим, все идут они, подпрыгивая и пошатываясь, ожидая, когда усталость прекратит одержимость. Понемногу, начинают выпадать танцующие из круга и ложиться кто где, как поваленные ветром. Весь потный, штаны его прилипли к телу, Самуил спрашивает: «хочешь спать, Мунделе»? «Нет, приготовь мустикер и термос. Я потом пойду сам».

Неразбуженная шумом, блаженно съев два яйца

мангуста сидит на коленях Никиты. Трещат ветки подложенные в костер Самуилом. В наступившей почти тишине явственнее глухие звуки там-тама, телеграфа Африки. Из деревни в деревню, тайным языком там-тама, неразгаданным даже миссионерами, передаются известия. Так знала заранее деревня о его прибытии, так узнал бы администратор что он умер, если бы умер, прошлой ночью. Нет тишины, следует только вслушаться. Спят попугаи и обезьяны, но лес не заснул. Он полон шорохов, скольжений, дыханий.

Понемногу, к теплу, с достоинством собираются громадные жабы. Раздувая животы, они глядят своими выпуклыми глазами на огонь. В первый же вечер, четыре дня тому назад, Никита отметил посетительниц масляной краской, одну желтой, одну красной, одну белой. Теперь у костра сидят четыре, две меченые, две немеченые. Сколько еще дней будет он ждать с ними свиданий?

Как тихо, как одиноко... В узкой дорожке над его головой звезды. Забывшись, Никита ищет Большую Медведицу, но и небо чужое. Не Полярная звезда указывает путь, а Южный крест. Почесываясь от комариных укусов, неся мангусту, Никита идет в палатку. Самуил ничего не забыл: стоит термос, лежит коробка с хинином, ненужный револьвер, пачка папирос, электрический фонарь. Чтоб не запутаться в днях, Никита вычеркивает еще один день на своем карманном календаре. Год 1925, 23 марта, четверг. Завтра, вспоминает он равнодушно, ему исполнится 26 лет.

ПУСТЫНЯ

Жена Вальдена умерла шесть недель тому назад. Вальден сидел в холле международной гостиницы, грузный большой человек со странно тонкими руками, нарочито неряшливо одетый, как будто хотел подчеркнуть, что гениальному да и богатому человеку нечего и заботиться о том, какое впечатление он производит.

Сезон еще не начался, холл был почти пуст. За баром позванивал стаканами бармен: прислонившись к колонне, два служащих негромко разговаривали о своих делах, изредка посматривая то на Вальдена, то на немолодую с синими волосами даму, которая пила чай, поглаживая сидящую рядом с ней на кресле болонку. За большими окнами, ошалев от мистрали, шатались пальмы, по набережной шли прикрывая рты пожилые люди, и даже солнце было какое-то ненастоящее, как будто светило нехотя, через силу.

Вальден принялся было за крестословицу, но счел ее слишком примитивной и опять, в сотый раз, профессионально запоминающим взглядом стал рассматривать — хрустальный шатер люстры (две лампочки горели ярче остальных), оливковое лицо бармана (с

одной розовой щекой от абажурчика), даму, неторопливо кормящую биксвитами болонку, —но любопытства к ним не испытывал. Он уже много лет предпочитал лица и предметы выдумывать, а не наблюдать.

Странно было, что он один и что, вот скоро, нужно будет ему самому выбирать себе блюда на ресторанной карточке, а в конце недели платить кассиру, подписывать чеки — все это давно делала за него жена.

Он опять вспомнил совсем не торжественные похороны, — на них никого не похоронили. Как и подобает, когда в религии видят только предрассудок, — исчезновение тела было просто до отчаяния: оно было предано огню. От музыкального оформления этого процесса муж и дочь отказались, и в тяжелом молчании было слышно только как открылся засов печи крематория. Тут Вальден закрыл глаза и пошатнулся. Дочка взяла его руку, но утешенья от этого он не почувствовал. Все в нем еще больше окаменело.

На следующее утро дочь улетела в Рим, где крутила какой-то фильм, и Вальден прекрасно понял, за один проведенный с ней вечер, что она больше всего боялась, чтобы отец не попросил ее остаться с ним навсегда. А казалось, она интересовалась его творчеством, настояла в свое время, чтобы она играла в двух фильмах заснятых по его романам. Она была красива и не лишена таланта, но играла по-любительски — избалованная, взбалмошная дочь богатого человека.

Через час должен был приехать попросивший еще у жены свиданья с ним молодой филолог, готовящий о нем диссертацию — ему было назначено свиданье именно в этой гостиннице, чтобы Вальден мог встать и уйти, когда гость ему надоест. Эта ли гостиница, другая ли — дома у Вальдена давно не было. За последние годы они всегда жили в таких склеподобных палатах, окруженные равнодушными и хорошо вышколенными слугами, как будто осуществляя давнюю мечту очень бедных людей, желаю-

щих, чтобы роскошь ежеминутно напоминала им об успехе.

Собачка соскользнула с кресла, легко перебежала по ковру и остановилась около Вальдена, поблескивая через космы пуговками глаз. Когда-то Вальден умел обращаться с животными, и как бы проверяя себя, он нагнулся — сморщился пиджак на рыхлом животе — протянул руку, почмокал губами, но вдруг собачка с тонким визгом бросилась от него — назад к хозяйке.

Кудрявый грум подбежал к Вальдену: «К вам пришел господин Белл». — «Да, я его жду». — И Белл, щупленький и длинноволосенький, в бархатных штанах и замшевой грязной куртке, уже шел к нему, застенчиво улыбаясь.

Как много Беллов повидал Вальден, и не только молодых, но и маститых, неловко старающихся скрыть свой страх перед великим и известным своей неучтивостью писателем. Этот Белл был отличен от других только веснушками, но так же пропитан все той же академической, неживой любознательностью, тоже прочел и Фрейда и Юнга, мог сравнить самое несравнимое — (Чехова и Кафку) — и уж, конечно, до йоты знал все, что было написано Вальденом и то, что было написано о Вальдене.

Веснушчатый Белл сразу обнаружил свое глубокое знание произведений мэтра, несколько произвольно вставив в свою речь излюбленные Вальденом метафоры, и заметил, что его поразило в последних пяти книгах Вальдена настойчивое повторение ледяного мотива: льдистость, льдины, айсберг, леденяще, ледовый, ледяной...

Сознавал ли Вальден, что улыбка его была помимо его воли презрительной и насмешливой даже и теперь, когда он чувствовал себя потерянным, так как за долгие годы впервые жена не присутствовала при интервью?

Он привычно, перед каждым словом или ответом, отводил глаза в сторону, ища уже исчезнувшее лицо. Оглядываться было не на кого. Ее не было.

Вальдену и в голову не пришло оставить Белла на обед, хотя он с тоской думал, что будет сидеть один в белой ротонде столовой. Приглашать людей без разрешения он отвык и в восемь часов отпустил Белла, не смевшего записывать то, что он услышал и напряженно старавшегося всё запомнить. Белл откланялся наконец, рассыпаясь благодарными улыбками, и ушел, унося, как женщина портрет возлюбленного или партизан портрет вождя, облик лысоватого дряблого гения и ворох необыкновенно острых и спорных изречений.

Тоску Белл все-таки развеял. Вальден так любил ошеломлять читателей и собеседников, раздражать их заковыристыми заявлениями: «Моцарт — третьеразрядный тапер в провинциальном кино начала века», «Пушкин, что о нем говорить, поскольку в ясности своей он доступен любому дураку».

Впрочем, несколько волновало его **что** о нем напишет Белл... Умный человек, Вальден не дорого давал за мнения других об его творчестве, но приходил в ярость от малейшей, пусть перифразой, высказанной критики и радовался необузданным дифирамбам тех, которых считал дураками и литературными недорослями.

Вальден прошел в столовую, где уже сидела дама с собачкой и какая-то новоприбывшая парочка. Вокруг трех столов носились, как стаи мух, лакеи.

Хуже было когда он поднялся в свои аппартаменты — в спальню с двумя кроватями и гостиную, где висела репродукция знаменитого современного художника. На столе лежали гранки новой книги — и стояла фотография жены. Ее голубые глаза казались прозрачными, тонкие губы были сжаты и все тонконосое острое лицо носило отпечаток выработанной высокомерности, которую она считала признаком аристократизма именно потому, что к аристократии не принадлежала.

Уже совсем стемнело, и на набережной зажглись дуги фонарей, белые и чистые. Море, шумы кото-

рого до комнаты не доносились, серыми пятнами накатывалось на белеющий пляж.

Более пятидесяти лет назад, (но это было летом), в этом же приморском южном городе, двадцатилетним он расстался со своей шетнадцатилетней почти-невестой, такой славянской девушкой с широко расставленными, всегда удивленными глазами. Как легко вились каштановые волосы по девичьей шее и над невысоким выпуклым лбом. Звали ее Эллой. Она была совсем беззащитна, несмотря на бойкость разговора и шаловливость, доходящую до резкости. И совсем бесстрашна, защищенная своим неведением зла.

Тогда вот тоже шумел мистраль серебристыми ветвями олив, но и цикады стрекотали о счастьи, а счастье, тогда казалось, было в этой девочке, — может быть с ней и ушло.

Но писательской удачи с Эллой он бы не добился. В простоте своей она и не догадывалась, что в молодом Вальдене таятся вот такие возможности славы и денег. Писанье казалось ей совсем никчемным занятием. И уж наверное не догадалась бы Элла первые годы кормить мужа своим трудом, кропотливым изготовлением аляповатых фальшивых драгоценностей, бывших тогда в моде. Зато готовила бы для него какие-нибудь неудобоваримые блюда своей национальности, ни на что бы не жаловалась, легко переносила бы бедность и не замечала бы оскорблений, связанных с нуждой.

Жива ли Элла и какова судьба ее, так покорно — по совету отца — отказавшейся от своей первой любви. Как неловко она поцеловала его при расставании, как и в первых поцелуях, плотно сомкнутыми губами. В памяти остались: белое платье, загоревшие руки и ноги, кое-где поцарапанные горными кустарниками. Серые глаза с янтарными искрами заблестели слезами, когда она сказала: «Уйду и не обернусь, а тебя никогда не забуду», и быстро сбежала вниз. Под сандалиями катились камешки, и он остался один — обожженный горем.

Но все это Вальден забыл и только теперь вспом-

нил об Элле, потому что вдруг и на нее хватило времени, вспомнил тепло, исходившее от нее, веселую игривость простого сердца.

Он вздохнул, пососал леденец, сел в кресло, зажег лампу, стоящую, как журавль, на тонкой ноге. Тоска не расходилась, но нарастал и страх. Откуда он? Потеря жены? Да, конечно, но еще больше угнетала его безысходность своего существования, собственная беззащитность, которую он раньше не чувствовал. Как император, теряющий одну за другой все части своей империи, Вальден за последние годы как-то беднел с незаметной постепенностью. Твердо, под предлогом заботы о нем, об его освобождении от хлопот, она отняла от него участие в жизни, обессилила его. Только ей читал он свои рукописи, только ее советам следовал, она подписывала контракты, правила гранки, возила его на автомобиле, заказывала ему одежду, билеты на самолеты, решала кого он может видеть и кого видеть не должен. У него и денег-то никогда не бывало в кармане, она была его кассиром и манаджером, и вне ее у него не было ничего, кроме того, что он выдумывал и о чем писал. А ведь когда-то он был деятельным и самостоятельным и, хотя был плохо приспособлен к борьбе, все же боролся, разговаривал с издателями, устраивал лекции, писал письма...

Сперва метелицей, затем метелью, потом бураном было сметено, отброшено все то, что дает человеку ощущение собственной жизни. Даже прошлое, и оно особенно старательно, было оторвано той же твердой, холодной рукой. Отброшены друзья, уничтожены старые письма, счастливое детство, тревожная трудная молодость, а ведь и память,и общение с другими — пища писателя.

Все бездушнее, запутаннее рождались в нем образы его персонажей. И уже ими не интересуясь, их не любя, Вальден любил в писательстве только тонкое словесное кружево, замысловатое словосплетение. Орудие стало самодовлеющей целью.

Вальден криво улыбнулся, неожиданно уловив,

что среди абстракций, уже не символов, не аллегорий, а чудовищ, ставших героями его книг, ужаснее всего были женские образы, — «ледяные змеи».

Да и сам он стал чудовищем, но недавно ему нравилось, когда об этом писали, а теперь стало непереносимо. Стало трудно выносить себя, захотелось снять, силой на него наложенную, и уже вросшую в настоящее лицо, маску.

Вот, как подснежник после зимы, вернулась к нему забытая Элла и теперь он вспомнил, что ведь и он был жив, молод, счастлив, несчастлив, любим, окружен друзьями... Никто больше не оберегал его, как зверь свою добычу...

Потрогал гранки, с отвращением совсем удивительным, хотя и знал, что это очередной шедевр. В чемодане была еще рукопись нового романа. Кто-то будет ее перепечатывать? Сколько за это придется платить? Второй вопрос был рефлекторный, и тоже ему навязанный. Вальден не был скуп, он и в бедности делился с другими тем, что имел, но вот к старости вдруг стал скуповат. «Для дочки» объяснял он себе, а теперь понял, скупость была ему внушена. Когда старые друзья просили его о помощи, ведь не он открывал письмо, он только слышал холодный голос: «Ясно! Таких попрошаек будет все больше и больше»; и письмо, без ответа, бросалось в корзину.

Как сказал Белл? В книгах его участился элемент холода, льда. Ледяное стало его особым даром, и вот он сам оледенел. Но оттаивать было больно и трудно. Смерть? Он перейдет из бытия в небытие, не заметив.

Тоскуя, Вальден побродил по комнате шаркая ногами, ему было страшновато. Он позвонил, чтобы ему принесли минеральной воды. И сразу же ее принесли. «Поговорить бы с ним», — подумал Вальден, глядя, как вошедший итальянец или испанец, ловким движением сорвал капсюлю и налил воду в стакан — но как начать? Ничего не сказав, Вальден просто подписал предложенный счет. И дверь тихо закрылась. А

прозрачные глаза продолжали смотреть на него. Разве заплакать? — подумал Вальден, но слезы не шли.

Он грузно повернулся, начал смотреть на стену. Она была золотистой, но страха не разгоняла. Все что у него осталось, это страх перед жизнью и нараставшее жестокое раздражение, еще ни к кому не относящееся. Через четверть часа он встал, тяжко ступая босыми ногами подошел к столу и, не вглядываясь в фотографию, с жутью святотатства осторожно взял ее своими длинными пальцами, как берут что-то очень опасное, положил в ящик и плотно его закрыл, — как бы навеки. И вот тут-то пришло облегчение: жуть святотатства перешла в странное, забытое, но родное чувство свободы.

«Новый Журнал», № 111
1973 г.

СОБАЧЬЯ СМЕРТЬ

(Из воспоминаний)

Апрель 1918 года был светел и радостен, как май. Зеленели озими, буйно взбухали почки деревьев и нежная зелень выживших от порубки берез начинала шелестеть. Пасха уже прошла, о чем — одиннадцати лет выпав из календарного года — узнала я только потому, что, не страшась последствий, отец Александр Маковский приехал из «Гремячева» поздравить со светлым праздником малолетнюю заложницу. Протрясшись на своей клячонке около десяти верст, он привез мне красное яичко и пропел пасхальные песнопения.

В доме, из прежних его многочисленных обитателей, я оставалась одна. Мать была в тюрьме в Веневе, отец скрывался, старшая сестра и 15-летний брат в Москве хлопотали о матери. Сестра Наташа с теткой жили в Веневе для «передач» в тюрьму. Двоюродные братья, товарищи их и брата разъехались тоже.

Верно и любовно охраняли меня и ухаживали за мною придурковатая белорусская беженка Анюта, беременная от уехавшего на родину австрийского военнопленного — (было условлено, что я буду крестной матерью) — и петербургская портниха Лида,

бывшая проститутка (как я узнала позже), три года живущая у нас и ставшая подругой другого военнопленного, Карла, нашего сапожника. Он на родину не уехал.

Дворовых оставалось немного. «Мананки», крепкие девушки, заменявшие угнанных на войну рабочих, вернулись к себе в Черниговскую губернию, но кое-кто из беженцев и старых рабочих жил еще в «экономии». И отряд красноармейцев, присланный — с пулеметами против крестьян — арестовывать часть нашей семьи и после разгона оставшийся стеречь меня, как заложницу за отца, заскучал. Все было выпито, съедено, все поломано, загажено, книги и старые грамоты сожжены... За пределы усадьбы красноармейцы не рисковали выходить или выезжать. В деревню развлекаться не ходили, опасаясь народного гнева. Ведь не только помещиков выгнали, не спрося на то крестьянского разрешения, но еще и барское зерно увезли в город, и лошадей угнали.

Малолетнее княжье отродье было им, может быть, даже обидно стеречь. И вот, оставив одного солдата и одного матроса, отряд куда-то — вероятно самовольно — отбыл. Я жила на первом этаже, куда Анюта носила мне еду и вечерами сидела со мною, ни на секунду меня не покидая, если, что иногда случалось, заходил ко мне матрос. Солдат не заходил. Матрос говорил скучно и нескладно, покрякивая, крутя самокрутку — бумагой служили страницы потоньше из какой-нибудь книги. Верно, скучал по выпивке и по компании. Иногда он принимался рассказывать, как топил офицеров, неизменно теми же словами — и тогда становился еще скучнее. Даже я понимала, что не так он хотел меня пугать, как освободиться от своих видений и своей тоски. Анюта подремывала, утомившись за день. Борзая «Леди» и мой мопс «Пупс» к нему вполне привыкли и спали, один — клубком на моих коленях, другая — растянувшись на ковре. Я молчала и неотрывно смотрела в матросское лицо, думая этим его сердить, а главное — показать, что мне не страшно. А он меня и не замечал, глядел по-

верх меня, на стену, как будто там найдется на что-то ответ. Наконец, Анюта поднималась, маленькая с большим животом и с своим южно-русским акцентом говорила: «Княжне спать пора, уж идите себе, чаво там». Матрос неторопливо вставал, поправлял пояс с кобурой, бросал «Прощевайте» и уходил.

Мы шли в детскую. Анюта несла лампу. Она освещала остатки розовых в цветочках обоев, шрамы стен, светлые прорезы, где висели картины. Стены были испорчены, так как при аресте матери искали замурованный в них «пуд бриллиантов», которых явно найти не могли. Из киота исчезли иконы в золотых и серебряных ризах, но другие остались, как и пожелтевшая фата матери и две венчальных свечи. Анюта, не то что гувернантка, охотно освобождала меня от вечернего мытья, с ног валилась. Закрывала ставни, запирала обе двери, накрывала меня — в комнатах было холодновато. «Анюта, зажги лампаду» — просила я. Матроса не боялась, а темноты боялась. Она зажигала, заплетя косу ложилась на кровать Наташи и очень скоро раздавался ее храп. Одеяло над ней торчало горой. Пупс, зная что теперь все позволено, забирался ко мне под одеяло. Я думала о маме. Днем от негодованья за ее увоз, от возмущения за «взятие врагом» Матова, времени не было скучать по ней... К вечеру злоба уходила, заменяясь нежностью и грустью, и я плакала, так в слезах и засыпала.

А утром начинался новый день в мечтах о подвигах по примеру исторических и литературных героев, о которых я знала из книг. Жило крепко во мне сознание, что я, последняя из моей семьи, осталась на месте, хозяйкой этого дома, этой земли и что посрамить их я не должна страхом перед врагами.

День начинался рано обходом имения. Перед крыльцом, ведущим в огороды, ждали меня друзья — собаки. Память моя и не сосчитает их всех: почти мой однолетка, мохнатый, рыжий Медведь «Султан собачьего племени» — не помню Матова без него — и Барбос, и Османка, и Цыганка, и Каштанка, и Ша-

рик, и Лягаш, и охотничьи, и дворняжки, одинаково мною любимые и встречающие меня прыжками, вилянием хвостов, нежным покусыванием, всей своей собачьей преданностью и любовью.

Окруженная такими подданными, шла я сперва в огороды, смотрела как растут в парниках первые овощи, затем дальше, на скотный двор. Как и в барском доме, там тоже царило разоренье, пустые стойла конюшенной и коровника сжимали сердце. Там меня встречали дворовые люди: кузнец, дети — соучастники наших летних игр. В людской кухне распоряжалась все та же стряпуха. Она сразу же отрезала мне краюху свежеиспеченного каравая и, протягивая, посыпала солью. У курятника по-прежнему копошились куры, и здоровались со мною птичница Марьянка из Польши и изгнанный революцией из барского дома сирота, польский мальчик Стась, мой приятель.

С собаками шла я дальше, к скотскому пруду, направляясь к деревеньке Матово, куда были переселены, еще до отмены крепостного права, крепостные «Матовской Вотчины».

Дорога, земляная конечно, была свежа, еще не пылилась. Собаки носились вокруг меня, играя, опрокидывая иногда, и, когда я падала, лизали мне лицо, руки и волосы. Медведь деловито смотрел на эти шалости, в них не участвуя, как и подобает патриарху.

Версты за полторы до деревни собаки останавливались, по опыту зная, что туда идти опасно, разве только если можно бежать между колесами хозяйских экипажей, что делает их недосягаемыми для деревенских псов. Останавливались они все вместе, ложились, или садились и, оборачиваясь, я их видела, как пятна на зелени. Знала, что будут они там ждать моего возвращения.

Деревня ко мне не переменилась. Из изб выходили мужики, те самые, что почти начисто вырубили посаженную моим отцом рощицу «чтоб другим не досталось». Собирались бабы: толстая Аграфена, наша прачка, чернобровая Поля, первая хороводница, Паша — рыхлая жена нашего молодого кучера Василия и

другие, с младенчества знакомые. Расспрашивали о матери, охали, приговаривали, гладили меня по голове, слушали мои довольно пропагандные «митинговые» речи (я помнила, как родители говорили с крестьянами). Бабы обещали собрать «яичек да маслица» и с оказией послать в Венев заключенной, угощали меня «пирогом», пшеничным хлебом... В единственной лавчонке, где пахло дегтем и лампадным маслом, и продавались все немудреные товары сельского обихода, не было больше ни жамок, ни тульских пряников, ни раковых шеек. Остались одни подсолнухи. Тут, проездом из одного имения в другое, мы обычно останавливались и покупали лакомства для деревенских детей, но денег у меня не было даже на подсолнухи.

Разговор мой был с умыслом. Я подробно рассказывала, что и как у нас изъяли, и к жалости ко мне и моей семье примешивалась у крестьян исконная вражда деревни к городу и пришлым, и ругали их по черноземному, крепкими русскими выражениями.

Поспешно возвращалась я в усадьбу, усталая, но подбодренная. Навстречу мне бросались собаки. В небе звенели жаворонки и все было родное, из поколения в поколение свое.

Весну не остановить никакой революцией. В мае зацвела сирень, все еще больше заблистало, защебетало и запело. В одно из таких блистающих утр я спустилась, чтобы идти в сад, через заплеванную столовую, где валялись пустые бутылки, переплеты от книг. Рояль, перенесенный туда зимою, был изрезан именами, клавиши были оторваны — может быть, после того, как, приведенная сюда, когда был еще отряд, и принуждаемая играть Марсельезу, которой меня никто не научил, я сыграла «Боже, Царя Храни», успев убежать затем от солдатского гнева. Из гостиной исчезли миниатюры и всякие безделушки, мебель была изодрана.

Из гостиной стеклянная дверь выходила на террасу, ведущую в сад. Она не открывалась. Заглянув через стекло, я окаменела. По ту сторону двери, по-

ложив лапу на ручку, стоял, приподнявшись, с окаменелой, оскаленной пастью Медведь. Он был стар, может быть чувствуя, что околевает, хотел он окончить свои дни в доме, который честно охранял.

Я побежала к другому выходу, вокруг дома и вбежала в сад. Там на меня навалилось страшное и раздавило лавиной.

Под сиреневыми кустами, под акацией изгороди, в райском цветении сада — корчились, хрипя и по-человечески стеная, матовские собаки. Содрогаясь, сползла с газона на дорожку кроткая гончая Милка, Барбос, судорожно тявкая челюстью, скреб лапами землю клумбы. Я бросалась от одной собаки к другой, ошалев от горя, кажется — кричала. У меня была одна мысль: их надо добить, чтобы не мучились, как лошадь с перебитой ногой, как корову объевшуюся клевером, если троккар ей не помог или ветеринар не успел доехать. Мой маленький револьвер с перламутровой рукояткой, «Бульдог», был конфискован, как и моя франкотка, с другим найденным у нас оружием. Я была бессильна и одинока.

Тут я заметила стоявшего неподалеку Осипа. В каждой деревне есть такие Осипы, гроза крестьян, те, кто может и подпалить, и ножом пырнуть. Дуня, дворовая девочка моих лет, рассказывала мне, что Осип «девок бесчестит, даже и малолетних», что я не поняла, но запомнила, что он опасен. Появлялся он редко, часто сидел в тюрьме, откуда вероятно революция его освободила. На его красивом и отвратительном лице, прямоносом, со шрамом вдоль щеки, в его мутно-зеленоватых глазах виднелось торжество. Он улыбался, он смотрел на мое отчаяние с нескрываемым удовольствием, иногда переводя с удовлетворением взгляд на мучившихся собак.

— Это ты? — крикнула я ему.

Осклабясь, он ответил очень отчетливо:

— Ну да, я! И очень даже просто, из вашего же дома страхнина достал и скормил.

Появились и мальчишки, я их умоляла добить

собак хоть камнями. Стась попробовал, но после первого удара бросил камень и заплакал сам.

И вдруг в сад вошел матрос. Он был не в матроске, а в тельнике, на поясе все же висела кобура.

Я бросилось к нему: «Добейте, пожалуйста добейте, пожалуйста, пожалуйста!» — бормотала я сквозь слезы. Что-то похожее на жалость прошло по его сумрачному лицу и он, не торопясь, отстегнул кобуру: «А вы тут не стойте, тут вам делать нечего». Осип скрылся. Я бросилась на террасу и, обнимая уже холодного Медведя, рыдала, не желая слушать, но слыша четкие, раздельные удары нагана.

Может быть матрос позвал Лиду, а может быть, услыхав выстрелы, она сама прибежала и нашла меня. Приговаривая что-то нежное, Лида оторвала меня от Медведя и, обняв за плечи, твердо повела меня, все еще рыдавшую, в дом, наверх, где она и Анюта уложили меня на диван, давали пить воду, чем-то терли, пока Пупс жалобно скулил, вторя моим слезам. Из 16 собак выжили только Леди, Пупс и щенок меделян, живущий в доме.

Всю эту ночь я не спала, задыхаясь от горя и ужаса, и годами жили, до сих пор живут во мне эти собачьи глаза, ждущие от меня спасенья и торжествующая усмешка Осипа. Позднее мой тифозный бред в Новороссийске будет возвращать меня в оскверненный матовский сад.

Матрос ко мне больше не поднимался, а я не выходила. Матово стало для меня чужим. Через несколько дней приехал на телеге мой двоюродный брат Алеша уговаривать стражей отпустить меня с ним в Венев. Для убедительности он привез с собой бутылку спирта и, кажется, немалую сумму денег. Дело было налажено. В тот день, когда крестьянские подводы, везущие мешки с зерном, должны были прихватить нас с собою, я впервые, одна, даже без Пупса, пошла опять к сараю, который стоял поблизости от него и в котором я провела столько блаженных часов, лежа на сене с собаками и читая книги. Ни книг, ни собак не было, да и сарай был пуст. Сред-

нерусская равнина широко расстилалась передо мной. Встав около сарая, медленно поворачиваясь на все четыре стороны, я торжественно произнесла: «Пусть место это будет навеки пусто и пусть поселяющиеся на нем будут до конца жизни несчастны».

Я, конечно, опять играла роль, но уже другую. Что-то во мне переменилось. Я не плакала, когда под конвоем увозили моих родных (как раз после того, как мы узнали, что в Рязанском имении конвой по дороге в город зверски убил брата и сестру моего отца), не плакала тогда от гордости, чтобы не показать врагу мою слабость и страх, но встреча со страданием, агонией и смертью в великолепном, ослепляющем блеске весны была мне не под силу. И от поруганной любви, я, стоя на майском ветру, не плача прокляла то, что было частью меня самой, землю, которая утробно во мне жила. Уже не гордость, а ненависть меня заполняла, и долгие годы вызревало во мне прощение.

Вечером того же дня, Анюта, Лида, Карл и Матвей прощались со мною у Красного крыльца, навсегда. Я вскарабкалась на мешки телеги, с Пупсом на руках. Рядом растянулась спокойная, глуповатая Леди (меделяна взял себе Матвей) и в веренице других нагруженных телег мы двинулись, пока стража моя спала или делала вид, что спит, на Савино, на Холтобино и дальше.

Мы выехали на лесную дорогу. Ночь была темная и звезды огромные и лохматые. А лес тянулся бесконечно, казался дремучим. От времени до времени где-то постреливали: не то лесничие стреляли в воров, не то воры стреляли в лесничих. Возницы иногда присаживались на подводы, иногда шли рядом с лошадьми, попыхивая самокрутками. Я лежала, смотря на небо, на тени, на огоньки, думая, что увижу мать, — мне не сказали, что она была переведена в Москву, в Бутырки — Наташу, может быть отца и брата. Ночь была длинной, тихой, почти неземной. Поскрипывали колеса. Дорога уводила меня все дальше и дальше,

неизвестно куда, от моего диковатого, русского детства, а затем и из России.

«Русская Мысль», № 2944
1973 г.



Статьи

ВЕСЕЛОЕ ИМЯ ПУШКИНА

«Пушкин наше все» — это почти бесспорно, хотя и до Пушкина была Россия со своей «особенною статью». Но правда ли, что Пушкин выражает русского человека, правда ли, что русский народ олицетворен в Пушкине? Или, может быть, и Гоголь и Достоевский, а за ними и множество русских писателей, литературоведов, критиков, поэтов, читателей ошибались, считая Пушкина катализатором национального сознания? Не вернее ли, что Пушкин прообраз того, чем русские хотели бы быть, идеал недосягаемый и поэтому особенно достойный преклонения.

Зачарованные аполлонической гармонией, сыны русского хаоса слышат особенно остро то, что им несозвучно и непривычно, и в Пушкине — призыв к равновесию, им чуждому и такому же чуждому им искристому веселью, ворвавшемуся в их вековую тоску.

Кто из русских может сказать «печаль моя светла», кто из русских может написать эротическое стихотворение, не превратив поэзию в порнографию, кто из русских отыщет в себе это магическое сияние, которое идет от творческого (и одновременного)

освоения чувства греха и чувства спасения от греха, чувства бренности жизни и восторга перед ней?

Но неправильно причислять Пушкина и к Западу. В нем отсутствует присущий западной культуре рационализм и скептицизм, в нем живет примитивная жизненная энергия (в сущности, эта энергия и привлекла внимание западных современников, напр., к Марии Башкирцевой, как к личности). При внимательном рассмотрении увидим мы, что Африка не оставила на Пушкине своих следов. Тот, кто знает африканские народы и судьбы черного континента, знает, что «африканские страсти» — европейский миф. Нет, что ни говори, Пушкин был весь проникнут русской стихией, окунулся в нее и переборол ее, питался Русью, преображая ее.

Ах, как русский человек любит свою несчастную судьбу! Как любит он проклинать свою незадачливость, как полон он жалости к самому себе (самая непозволительная жалость в глазах англичанина), как близок он к еврею в этом отношении, всегда обвиняя свою судьбу, как будто народы совсем не ответственны за то, что с ними случается.

Совсем не по-русски «верен его (пушкинский) отклик, чутко его ухо» ко внешнему и чуждому России миру. Цитируя того же Гоголя — «в Испании он испанец, с греком — грек, на Кавказе — вольный горец» — сознаемся, что и в этом он единственен в нашей литературе. Блок, утверждающий «нам внятно все — и острый галльский смысл, и сумрачный германский гений...» был в сущности, на глубине, закрыт всему чужому, разве что за исключением «сумрачного германского гения» — вероятно оттого, что предки его были из Мекленбурга. Пишет ли Блок о Лангедоке или об Италии — нигде не найдешь у него «острого галльского смысла», основанного на тонкой иронии.

Пушкинской линии в русской поэзии XX века не было, — или почти не было, — а эмигрантская поэзия 20-х и 30-х годов жила под знаком Лермонтова и Блока. Лермонтов дело особое, но Блок в какой-то мере — антитеза Пушкина. Русскому слабоволию он

упреком не служит. Не было в нем чувства великодержавности, присущего Пушкину, и не был он и в своем Шахматове связан кровно с русской деревней, как был Пушкин в своем мелкопоместном Михайловском. Блок оставался горожанином, интеллигентом, чужаком среди русского простонародия. Пушкину случалось быть пророком, Блоку — только пифией, смутно улавливающей звуки грядущего, в чаду и благовониях треножника. Как далеки — «Ольга, крестница Киприды» и «В ней все гармония, все диво, все выше мира и страстей» от блоковской «Незнакомки» или от «так вонзай же мне, ангел вчерашний, в сердце острый французский каблук». Не к русскому эпосу, а к цыганщине было его природное влеченье. Когда он отдавался стихии, Блок не мог ее побороть, слабый и раненый прежде чем вышел на бой. Пушкин «Во цвете лет свободы верный воин» писал:

Мне бой знаком — люблю я звук мечей
От первых лет поклонник бранной
славы.

И вот, всю жизнь влекомый самоуничтожением, перед смертью обращается Блок к великому мужеству Пушкина и находит для его имени эпитет «веселый».

Да, конечно, Блок был одним из «детей темных лет России», но история, особенно русская, не знает в сущности не темных времен. Все годы требуют от живущих мужества, только мужеством сохраняется культура. Блок назвал свою речь «Веселое имя Пушкина». Имя же Блока не веселое, не веселы имена ни Гоголя, ни Баратынского, ни Тютчева, ни Достоевского, ни Толстого. И потому так чудесно появление в России Пушкина, подарок нам и пример. И потому заворожены поколения пушкинским призывом не к трагической, а к веселой свободе.

Пушкин завещал нам трудный подвиг равновесия ума и сердца, ответственности и беспечности, преодоления греха раскаяньем. Как головокружительно

быстро он рос, превращаясь из повесы в мудрого мужа, и в несколько часов, от дуэли до смерти, созревая от рабства страстям до христианской кончины.

«Русская Мысль», № 2830
1971 г.

О ГУМИЛЕВЕ

Благородное сердце твое
Словно герб отошедших времен...

По душевному влечению избравший себе совсем несозвучное эпохе направление и в поэзии, и в жизни, Гумилев тем самым себя обрек на то, что французы называют «временное чистилище забвения».

Судя по полученным нами материалам по случаю двух годовщин: смерти Блока и Гумилева — в эмиграции во всяком случае, «любовь народная», как и критиков внимание, направлены скорее к Блоку, но мне кажется, что в СССР Гумилев почитается больше. В 1957 г. в «антикварной» книжной лавке я както спросила — нет ли в продаже какого-нибудь сборника Гумилева? Эффект был поразительный, все покупатели замолчали, как бы в трепете. «Гумилева нет» — сказала сумрачная продавщица.

Когда я вышла на улицу, за мной устремился молодой человек. «Вы это нарочно спросили, да? Как хорошо вы сделали! Гумилев — это ведь наша гордость. У меня имеется несколько стихов, которые я списал из «Костра».

Узнав что у меня имеется много сборников Гуми-

лева, и не дав мне досказать, что они в Париже, молодой человек даже ухватил меня за рукав шубы: «Да что вы, да что вы! Придите ко мне с ними, я вмиг перепишу. Такая радость будет для нас! А если хотите продать, так я на все пойду, деньги соберу, а то можно в обмен? Радиоприемник у меня совсем новый».

Тяга к запретнему плоду? Не думаю. Скорее перескочившая через поколение тяга к самому героическому поэту Серебряного века. И одно только утешительно, что в эмиграции воздвигнут Гумилеву памятник: четырехтомное собрание его сочинений, на которое его редакторы проф. Г. П. Струве и Б. А. Филиппов положили много труда и любви. Мы им, а также издателям, должны быть глубоко благодарны за эту ценную работу.

Гумилеву было 35 лет, когда его расстреляли, но как удивительно наполнена была его жизнь, — не только творчеством, но и действием.

Я не жалею, что не пришлось мне встретиться с Гумилевым — слишком хорошо знаю, как при близком знакомстве личная симпатия или антипатия отражается на нашей оценке «выдающихся людей». Пишу о нем свободно, руководствуясь его стихами, статьями, переводами и биографией, элементом, в моих глазах, важным.

Храбрость, отличительная черта характера Гумилева, вряд ли далась ему даром. Она всегда — напряжение воли, преодоление, часто мучительное, страха и согласие души на жертву. В этом отношении Гумилев нам пример. Нам, русским, трудно принудить себя к действию, гораздо легче растворяться в тоске и проклятиях мироустройству, чем укрепить себя, ограничить свой порыв к небытию и самоуничтожению. Акмеизм может быть отчасти и оковы поэзии, но если можно научиться писать стихи не будучи поэтом, то факт, что Гумилев учил молодых поэтов творить не только по вдохновению, но и по правилам, показывает насколько он был далек от русского хаоса и приблизительности.

Среди фарфоровых игрушек своей эпохи, Гумилев был действительно фигурой из не разбиваемого молотом металла. Настанет время, когда он откроется своей «родной, странной стране», как один из ее любимых поэтов и станет ясна многозначительность его поэзии, нагруженной тем мужеством, которое нам нужно. При всех наших и своих недостоинствах, наши учителя всегда звали нас не в пропасть, а на вершину.

Думается, что Гумилеву была присуща доброта. Недобрые люди часто сентиментальны — это дает им алиби, их возвышающее. Гумилев же, обращаясь к читателям, подчеркивает

Я не оскорбляю их неврастенией
Не унижаю душевной теплотой
. . . .
Я учу их как не бояться,
Не бояться и знать, что делать.

Человек большой сложности, Гумилев знает цену простоте. В эпоху, когда русская философская мысль запутывалась в византийских неясностях, Гумилев просто и каждому понятно напоминал о том, к чему призывал и Гоголь

Но забыли мы, что осиянно
Только слово средь земных тревог,
И в Евангельи от Иоанна
Сказано, что Слово это Бог.

Мы ему поставили пределом
Скудные пределы естества,
И как пчелы в улье опустелом
Дурно пахнут мертвые слова.

Кажется, вот как далек Гумилев от Пушкина, а на самом деле эта вот тяга к простоте, к слиянию, в

жизни и творчестве, реализма и духовности, жажда увидеть и осмыслить все страны и все континенты, находить «упоение в бою »— разве не пушкинское наследие? От того, кто был формально его учителем, большого поэта Иннокентия Анненского, Гумилев многому научился и, в частности, размещать «лучшие слова в лучшем порядке», но не соблазнился его безнадежностью. Смерть для Гумилева была не «левкоем и фенолом равнодушно дышащая дама» а той дверью, которая открыта за гробом для мытарей, блудниц и... воинов.

Что «чужое небо» могло стать ему родным так же, как и Пушкину (который мог увидеть его только в воображении) — легко судить по его переводам французских поэтов. Я считаю эти переводы одними из лучших и наиболее близкими по духу и стилю к оригиналам. Так сильно было его поэтическое освоение **чужого**, что попав волею судьбы через пять лет после расстрела Гумилева в Экваториальную Африку, я **узнала** ее, как будто бы не впервые ее увидела; стихи Гумилева мне ее открыли до приезда.

Когда родное небо сперва покрылось тучами войны, а затем заревом революции — Гумилев остался верен себе («золотое сердце России верно бьется в груди моей») и едва «та страна, что могла быть раем, стала логовищем огня», как Гумилев вступает в «сад иной земли».

Он был одним из тех тружеников, которые на разных земных поприщах идут до конца своей работы, не щадя жизни

Тружеников, медленно идущих,
На полях, омоченных в крови,
Подвиг сеющих и славу жнущих
Ныне, Господи, благослови.

Как у тех, что гнутся над сохою,
Как у тех, что молят и скорбят,

Их сердца горят перед Тобою
Восковыми свечками горят.

Воин Гумилев на полях сражения помнил и другой завет всех благородных воинов:

Но тому, о Господи, и силы
И победы царский час даруй,
Кто поверженному скажет: — милый,
Вот, прими, мой братский поцелуй.

Не к Гумилеву пришла победа и «неблагородные воины», расстрелявшие поэта, закона святой победы и милости не признавали. За это и осуждены они современниками, потомками и историей.

В Испании, недалеко от Мадрида, находится величественный памятник-усыпальница, где погребены останки всех безымянных воинов, погибших во время гражданской войны, и «белых», и «красных», объединенных братской могилой. Стихи и пьесы Гарсии Лорка издаются многотиражно в Испании, как издаются во Франции книги Роберта Бразильяка. Но в СССР пятьдесят лет после убийства Гумилева, неизвестно место его погребения и недоступно читателям то важное литературное наследство, которое он завещал России.

Когда ж забрезжится восток
Лучами жизни обновленной?

«Русская Мысль», № 2861
1971 г.

ТРАГЕДИЯ ПЕТРА И ТРАГЕДИЯ РОССИИ

Прошлое открывает свои страницы перед народами неохотно и много препятствий стоит на пути историка. Когда он получает доступ к архивам, самых важных свидетельств и документов уже нет.

Они уничтожаются не только временем, но, зачастую, и свидетелями событий. В угоду властителю или властям пропадает все, что может быть зачтено в пользу врага.

Так случилось, например, в Петровскую эпоху со многими документами, относящимися к Регентству Софии. Тщательным подбором архивов, включающим и апокрифы о самом Петре, был создан панегирик, а не историческое свидетельство — «Деяния Петра Великого».

Удивительны пути России-Евразии! Двигаясь на восток, она с ностальгией оборачивается всегда на запад, храня память о Киевской и Новгородской Руси, широким окном когда-то открытых на западный мир.

Особенно сильно это тяготение к истокам чувствовалось в Москве 17-го века. Нечто вроде запозда-

лого Ренессанса веяло над Москвой. Россия как бы отряхивалась от оцепенения и открывала глаза на новизну. Осторожно, ничего не ломая, но многое изменяя, Алексей Михайлович двигал страну навстречу западному миру. Удивительно привлекателен образ этого царя, неправильно прозванного Тишайшим, ибо он, при всей своей доброте, был вспыльчив и скор на гнев, но готов к такому же быстрому раскаянию. Обладая природным умом, эстетическим чувством, любовью к науке и к природе, Алексей Михайлович был воспитан по старинке (отец его Михаил был совершенно необразован). Но все же научили его грамоте и церковно-славянскому языку, церковную службу он знал не хуже монаха, а затем выучился и польскому, знал — хотя плохо — греческий. Книги Алексей Михайлович любил и его библиотека была очень значительной для того времени. Многое было им создано и советников он умел себе выбирать, не считаясь с местничеством. Федор Ртищев был знатен, но Анастасий Одрын-Нащокин только царской милостью и мог осуществить некоторые свои замыслы и жаль, что никто из современных историков не посвятил свой труд этому, фактически первому, русскому премьер-министру, министру иностранных дел, путей сообщения и выдающемуся дипломату. Ордын-Нащокин был убежденным сторонником западных влияний. Да и Патриарх Никон был новатором, хоть и имел характер консервативный.

Голицын и Матвеев жили на западный лад, а запад начинался с Польши — и память Смутного времени и польской оккупации, частых ссор и войн стушевывалась и исчезала перед тем новым, заманчивым и блестящим, что шло из Польши и через Польшу.

Детям своим от Марии Милославской Алексей Михайлович пожелал дать исключительное для этого времени образование — уже совершенно вопреки обычаю — не только сыновьям, но и дочерям. Выбор учителя тоже указывал на новое веяние: Симеон По-

лоцкий, уроженец юго-западного края, ученик иезуитов, был открыт изящным искусствам, поэзии и театру. Царские дети знали латинский и польский языки. Когда Симеон умер, его ученик Сильвестр Медведев продолжал при дворе его дело.

Даровитая натура Алексея Михайловича передалась его многим детям от Марии Милославской, за исключением последнего сына, Иоанна «скорбного главой: но если дочери его унаследовали и физическую крепость отца, то старший сын, Алексей, умер в отрочестве, а Федор, последующий и, действительно, Тишайший — умер, не оставив потомства, но успев совершить государственный акт чрезвычайной важности — уничтожить с помощью кн. Василия Голицына местничество.

Из всех детей Алексея Михайловича только Петр, сын Натальи Нарышкиной, не успел из-за смерти отца получить образование. С убийством стрельцами Артамона Матвеева, он был окружен Нарышкиными, недалекой матерью и ее братьями, алчными, легкомысленными и необразованными людьми.

Вместо Полоцкого его учителем был Зотов, человек слабовольный и пьяница, не сумевший привить воспитаннику даже уважения к самому себе. Петр остался гениальным и травматизированным дикарем, ребенком пережившим ужас расправы в Кремле над своими приверженцами, а отроком — никогда им не забывшееся, позорное свое бегство в одной рубашке сперва в лес, а затем в Троице-Сергиеву Лавру от воображаемой смертельной опасности. Именно отказ Софии от убийства брата и обрек ее на поражение.

Первая женщина победившая закон терема, умная и решительная София стремилась к продолжению дела Алексея Михайловича и, не отрываясь от глубинной Руси, была открыта новому миру. Два ее «сердечных друга», Голицын и Шакловитый — каждый по-своему — помогали ей в этом. Голицын был западником, гуманистом, Шакловитый — государственно

одаренным человеком. Не в пример Петру, София умела не только казнить, но и миловать и стрельцы это вспомнили в 1698 г. Династию, а следовательно и Петра, спасла от Хованского выдержка Софьи. Будь она сыном, а не дочерью царя — судьбы России были бы иными.

Ненависть Петра к Софье преследовала и ее память. Он уничтожил все, что касалось церковного суда над Царевной — Церковь ее не осудила. Все документы, могущие ее обелить или возвысить, были скрыты и по приказу Петра на нее возведены всякие клеветы.

Только с Екатерины II началась реабилитация Софии — по понятным причинам. Карамзин написал, что «она была одной из самых замечательных женщин на Руси» и, по мере того как историки начали изучать реформы и деятельность правительницы, началось и более критическое отношение к Петру, в частности — Милюков утверждает, что Петр наугад производил свои реформы, что он разрешал проблемы тогда, когда они перед ним вставали, но не был к ним подготовлен. Россию Петр, вероятно, любил, но русских не любил и с его царствования понятие о человеке как об индивидууме, а не как о пешке на государственной доске, исчезает.

Человеческая личность, уважение к которой утвердилось на Западе и которое существовало в до-петровской России, под обликом несколько иным, христианским, стушевывается. Петр менее образовывал своих подданных, чем дрессировал их. Он сломал духовный хребет России, принизив Церковь. Всякая революция уничтожает ценности — всякая эволюция прибавляет новые ценности к старым.

Со времен Алексея Михайловича, Федора и Софии Россия сближалась с латинской средиземноморской цивилизацией, которая могла смягчить и отточить ее могучий, но грубый характер. Постепенно, без взрыва, все три предшественника Петра внедряли

в страну западное влияние, охраняя то особое и характерное, что составляет гений и raison d'être каждой нации.

Петр ураганом пронесся по стране, открывая путь Октябрьской революции.

С его практическим, прагматическим умом, его слепотой к духовному миру и односторонним стремлением к овладению техникой — Петр обратился не к латинскому, а к германскому западу, и не к Германии и Голландии философов, поэтов, музыкантов и художников, а к Немецкой Слободе.

Посылая своих «птенцов» за границу, он направлял их в кораблестроительные доки, в мастерские и заводы — более охотно чем в университеты.

Софья и Голицын искали на западе иное.

Материальная цивилизация, а не культура, интересовала Петра, т. е. то, что не создает глубокой и подлинной связи между дающим и принимающим — и духовной связи с другими странами у Петра не было — «Европа нам нужна не надолго, потом мы повернемся к ней задом».

Культ личности процветал у свободолюбивых, но и корыстных философов 18-го века и хотя Петр как бы предал западную цивилизацию, она плела ему венки, в частности Вольтер. С Вольтера и повелось у иностранцев считать, что до Петра не было и России.

А преобразователь — открыл многие двери перед Россией, но не понял, что насилие — не ключ к свободе.

«Русская Мысль», № 2912
1972 г.

ОТ ЧАСТНОГО К ОБЩЕМУ

К сожалению, призывы Дм. Безруких (статья «Почвенник и Космополит», «Р. М.» № 2808 от 17 сентября 1970 г.) и М. Ошарова (статья «Калмыки, Удмурты, Марийцы» — № 2818 от 26 ноября 1970 г.) — высказаться по вопросу отношений русского народа к «инородцам», — отклика не нашли. А вопрос этот, конечно, важен, и русскими, несомненно, ощутима та непрекращающаяся русофобия, которая существовала и до революции, но которая, с тех пор как Россия стала «Безымянной страной» *), поддерживается политическими эмигрантами за границей, работающими на умаление русского народа.

Конечно, не без боли мы замечаем, что это единственная «народофобия», которая почему-то не осуждается никем. Когда пишут об угнетенных народностях, как-то забывают, что русский народ не меньше порабощен, чем другие. Забывают также, что в порабощении граждан СССР принимали и принимают участие и другие народности. Нет никакого сомнения, что в настоящее время РСФСР — одна из самых обез-

*) Так называется книга В. Вейдле. Изд. Les Editeurs Réunis. Paris.

доленных республик Союза. Гораздо легче и приятнее жить в Армянской, Украинской или Грузинской республиках.

Но я хотела сперва о частном. Из России я уехала, когда мне было 12 лет. Вспоминая, какое было вокруг меня отношение к «инородцам», я не помню, чтобы о них как-то особенно отзывались. Все жители Российской империи были русскими гражданами. В Екатерининском институте, в Петрограде, где я училась с сентября 16-го года до февраля 1917 г., в моем классе была Розалион-Шассальская (армянка), кн. Гаяна Грузинская (грузинка), Светик Савицкая (полька), гр. Наташа Сиверс (балтийка), Зорка Кизельбаш (татарка) и, самая красивая девочка нашего класса, Ариадна Шенк, дочь крещеного еврея, вероятно, получившего дворянство, так как Институт был «привилегированным» заведением. В старшем классе была калмычка кн. Тюмень, буддистка. К Зорке иногда ходил, очень меня интриговавший, мулла из Петроградской мечети, к Савицкой — ксендз.

«Грузинка» или «калмычка» звучали для меня так же, как «рязанская» или «новгородская». Отцы многих «инородных» девочек занимали посты более значительные, чем мой отец. Но это, так сказать, бытовое. А продолжая частное, захотелось мне разобраться, по поводу этих статей, что же, собственно, делает меня русской.

Род мой по отцу, — говорит история, — нормандского происхождения, затем связаны были прадеды с городами юго-западного края — Киевом и другими, что как будто позволяет мне считать себя и украинкой, (хотя предки мои и слова такого не знали) тем более, что сепаратисты взяли себе эмблемой трезубец, родовой знак многих русских фамилий. На протяжении веков породнились они, как и большинство русских, с татарами, с половцами, с литовцами, с поляками. Со стороны матери опять нахожу я в себе татарское, но также и австрийское, и итальянское наследие.

Почему же считаю я себя, даже и после 50-летнего пребывания за границей, русской? Ответ один: я принадлежу к русской культуре, т. е. к чему-то, что **единственное** составляет народность и к себе привязывает. **Но опять-таки русская культура не одними русскими создавалась. В ней участвовал и Гоголь, и Даль, и множество других, никак не великороссов.**

Как создавалась эта культура? Так же как и во всех древних странах и, конечно, не только мечем. Впрочем, какая из больших стран не родилась от меча? Я считаю за особую привилегию, что к культуре, полученной мною по наследству, присоединилась культура лично приобретенная — французская. Франция, как и Россия, создавалась войнами. Друзья мои, уроженцы Лангедока, утверждают и сейчас, что «варвары севера» (Франции) люди языка д'Ойль, победили их высшую культуру, языка д'Ок. Во всяком случае, сейчас Франция своей культурой объединила Эльзас (Германцев), Бретань (Кельтов), Фламандцев, Каталонцев, Басков и Нормандцев.

Собственно говоря, мы не знаем мировой культуры, которая бы не была слиянием в одном русле разных этнических групп. Видимо, одно из необходимых условий ее — разнородность элементов. Заключенная в узкие рамки одной «этнии» культура не развивается, остается локальной. На это горько жаловались на майском съезде международной ассоциации литературных критиков писатели и поэты Каталонии. Несмотря на все качество их литературы, она никак не добивается мирового звучания. Тогда как за испанской стоит весь «Испанидад», т. е. все страны, говорящие на испанском языке, хотя многие писатели и поэты «Испанидада» не принадлежат по крови к испанскому народу.

Пастернак, так трагически связавший свою судьбу с русской культурой, отказался ограничить себя принадлежностью к одной этнической группе. Он написал: «Мы говорили о средних деятелях, не имеющих ничего сказать миру в целом, о второразрядных силах, заинтересованных в узости, в том, чтобы все

время была речь о каком-нибудь народе, предпочтительно малом, чтобы он страдал, чтобы можно было судить, и рядить, и наживаться на жалости» **).

Культура создается, вопреки утверждению Померанца, как раз из прилагательных, это общее дело и высокая ответственность. Она объединительница, а не разрушительница.

Русский народ со всех сторон призывают к покаянию, призывают его и русские, живущие в СССР. Появляются в СССР и Печорины, и Чаадаевы. Покаяние — дело спасения души, но не надо, чтобы переходило оно в пессимизм, который заметен, например, в 4-х статьях из Сов. Союза, напечатанных в «Вестнике РСХД» № 97. От пессимизма недалеко и до отчаяния — самого тяжкого греха. И к тому же: почему-то призывы к покаянию идут всегда только по одному и тому же направлению. Соединенные Штаты и Сайгон приглашаются к покаянию, а Китай, СССР и Ханой не приглашаются. Русский народ призывается уважать все другие народы, но эти народы отказываются его уважать.

Тяжки грехи нашего прошлого, но длительное искупление страданием тоже велико. И не надо нам падать духом, хотя бы потому, что и пленная русская литература еще громко говорит миру. Помнится, в 1945 г., в занятой союзниками Германии, мы упорно искали какую-нибудь рукопись, тайно написанную книгу, немецкого автора, обличающего Гитлеризм, — и не нашли. Книги против нацизма были написаны **после** поражения. А вот в России, не дожидаясь освобождения от гнета, пишутся бесстрашные книги, опровергающие и пессимизм самих русских, и неправедные обличения нерусскими русского народа. Не насилием, а свободой духа держится и возвышается культура.

«Русская Мысль», № 2821
1971 г.

**) «Доктор Живаго». Стр. 145-я.

НА ПОЛЯХ ИСТОРИИ

Разбирая свой архив, я нашла письма ко мне Извольской, недавно скончавшейся в США. Два из них относятся к Виктору Сержу, кажется, единственному из троцкистов, которому удалось вырваться из СССР, и с которым без энтузиазма, но не без любопытства мы с мужем встретились незадолго до войны. Кстати, мне вспомнился и один эпизод, с ним связанный, о котором мне было рассказано в 1940 году.

Настоящую фамилию Виктора Сержа, употреблявшего также и фамилию Кибальчич, хотя в родстве с цареубийцей он не был, очень мало кто знает. Родился он, по-видимому, в Бельгии в 1890 г., умер в Мехико в 1947 г., весьма возможно, был сыном евреев-эмигрантов начала века. Письма Елены Извольской не датированы: думается, что они относятся к 1936-му или 37-му гг.

В. Серж был выслан из СССР в 1936 г. Именно как родившемуся в Бельгии, Виктору Сержу пришли на помощь «прогрессивные группы» этой страны. В 30-х годах, как и теперь, западная интеллигенция считала себя передовой только тогда, когда она была ультралевой.

Сообщил нам о прибытии Виктора Сержа бельгийский писатель и адвокат Шарль Плиснье *), идеологический маршрут которого тоже типичен. Плиснье был сперва социалистом, а затем стал первым бельгийцем, примкнувшим к III Интернационалу, а после и главой «Красной Международной Помощи». В 1928 году Плиснье выкинули из компартии за троцкизм. Человек порывистый и романтичный, Плиснье впоследствии порвал с троцкизмом и обратился в католичество. А в 1937 г. он стал первым иностранцем, получившим премию Гонкур за рассказы о своем революционном прошлом, «Фальшивые паспорта». По его признанию — путешествия его по фальшивым паспортам позволили ему в 1925 году «немного взорвать Софию», а в 1926 «немного поджечь Дамаск».

Вероятно, в память этого общего с Виктором Сержем террористического прошлого Плиснье и участвовал в хлопотах по извлечению Сержа из Советского Союза, а по приезде в Брюссель последнего и в устройстве ему неофициальной встречи у себя на ферме в Охен, вблизи от Ватерлоо. Народу было немного.

За давностью времен не помню, что рассказывал Виктор Серж. Мы явно были не только противоположного лагеря, но и разной породы люди. Серж показался нам обоим холодным, отвлеченным дидактиком, в противовес бывшему его товарищу, пылкому Плиснье. Помнится, муж спросил его, можно ли надеяться на то, что народу будет лучше хотя бы материально? Виктор Серж, несколько презрительно глядя на него ледяными глазами, ответил, что самое главное — чистота марксизма и мировая революция, а остальное частности. Мог бы и не говорить. Забота о человеке явно не входила в проблему этого теоретика троцкиз-

---

*) В 1939 г. Плиснье посвятил мне роман «Матрешка» — герой его — какой-то русский князь, признаться, отвечающий бытующему на Западе представлению о славянской «душевной загадочности»... Одно только и показалось мне несколько ко мне относящимся — это эпиграф из Монтескье. «Меня бранили со всех сторон. Для гвельфов я был гибеллин, для гибеллинов — гвельф».

ма и заговорщика, имевшего на своей совести немало чужих жизней.

Судя по письмам Е. Извольской, я смогла удовлетворить просьбы ее, Фундаминского и Мунье об отчете собрания с Сержем, но я помню эту вторую встречу еще меньше, чем первую.

Виктора Сержа я больше не встречала. В мае 1940 года, работая сестрой в военном госпитале близ Парижа, — встретилась я там с молодой француженкой, назову ее условно Жанной, из богатой семьи, тоже сестрой «военного времени», т. е. «любительницей», как называли нас профессиональные и «реквизированные» сестры.

Как бывает при драматических обстоятельствах — бомбардировка, занятие госпиталя немцами, бегство большинства врачебного персонала — малая группа оставшихся при раненых сплотилась, стала дружнее. Жанна удивила меня своим знанием русского и польского языков (в то время славистов во Франции было меньше, чем теперь).

Как-то на ночном дежурстве она рассказала мне один случай из своей жизни. Несмотря на свое буржуазное происхождение, симпатизируя коммунизму (ей было тогда 22-23 года), окончив Институт восточных языков, Жанна поехала в СССР, чтобы попрактиковаться в языке. В Москве встретила она поэта Иосифа Уткина и сошлась с ним. Несмотря на это увлечение, все же пришлось ей думать о возвращении.

Пароход, на который она должна была сесть, уходил из Одессы, и Жанна приехала в этот город за два дня до посадки. В первый же вечер в номер гостиницы, где она остановилась, постучались два молодых человека в штатском, весьма приятные на вид — сотрудники НКВД. Говорили они с ней дружественно, хвалили ее русский язык и наконец перешли к делу. «Вы, мы слыхали, знакомы с Виктором Сержем. Он нас очень интересует, вот нам и приходится просить вас почаще его видать в Париже и сообщать о нем кое-какие сведения». Жанна пришла в негодование, сказала, что она туристка, политикой не занимается,

что у нее своя личная жизнь и до проблем и забот советского государства ей нет дела.

«Жалко, жалко, — говорили посетители, — а вы еще подумайте, время есть. К тому же у вас паспорт не в порядке, — не та выездная виза поставлена — так что, можт быть, вы на этот пароход и не попадете. А другой еще не скоро придет, так что не принимайте спешного решения. Завтра мы с вами обедать пойдем. Опять по-хорошему поговорим».

Жанна чувствовала себя в мышеловке, сердилась, искала выхода. Обратиться было не к кому, консула в Одессе не было. Звонить в Москву в посольство было опасно, да она туда и не заходила раньше.

Было «очень неуютно», но, как полагается неопытной гражданке западных стран, Жанна предполагала, что это просто недоразумение, что никто не может ее заставить делать то, что она не хочет, и что в сущности опасность ей не грозит.

Подумывала она было отказаться от приглашения идти обедать с молодцами из НКВД, но, с одной стороны, на вид были они не страшны, и вообще как-то интересно. Молодцы показали ей издали пароход, на котором она должна была ехать в Марсель, повели в ресторан, поили водкой, опять говорили комплименты, не забывая и о деле: «Подумали о нашем предложении? Ведь ничего сложного. Мы знаем ваши взгляды — оттого вас и уважаем. Мы должны быть бдительны и должны рассчитывать на бдительность друзей».

Жанна отвечала, что взгляды взглядами, что она помогала красным бригадам в Испании, но на такую работу она не способна, и что никто ее не может заставить на такое пойти. «Жалко все-таки, что пароход без вас уйдет, заскучаете вы тут! А вот еще что. Вы знакомы ведь, кажется, с Уткиным. Такой хороший поэт, и вот опасное для него наступило время. Талантливый, красивый парень, но может с ним что-то неприятное случиться.

Так, вот, вы еще подумайте, до завтрашнего утра есть время. А рано утром мы к вам заглянем».

Ночью Жанна плакала, ходила по комнате, наконец, решила опять-таки с западной легкомысленностью: «Ну хорошо, соглашусь. Там, во Франции пусть попробуют меня заставить делать то, что я не хочу».

Все стало легко, и она радовалась спасению Уткина, возвращению во Францию, одурачиванию НКВД...

Утром она что-то подписала. Молодцы проводили ее сами на пароход, помогли с багажом и пожелали приятного путешествия. Конечно, самое разумное было бы Жанне, вернувшись в Париж, рассказать все французским властям, но она была молода, неопытна и боялась, что уже попала на фишку как сочувствующая коммунистам. Матери ее уже не было, отец был где-то в миссии. Раз или два у знакомых она встретила Виктора Сержа, который, как она говорила, проявлял к ней некоторый интерес. Она была с ним холодна, а он все добивался с ней встречи. Но в присутствии других Жанна не могла его предупредить.

И только раз, встретив его на Сен-Жермен де Прэ, когда он подошел к ней, Жанна, глядя ему в лицо, сказала: «На вашем месте я бы со мною не встречалась». Серж сразу понял, в чем дело. Затем какой-то неизвестный звонил Жанне, справлялся, видала ли она общего знакомого, приходили какие-то письма на машинке, предлагающие место свидания — Жанна переезжала с места на место.

В 1939 г. был подписан пакт между Сталиным и Гитлером, и в этом же году во время «странной войны» 39-го года французское правительство стало арестовывать коммунистов, как опасный элемент, и потенциальных агентов Германии. Недовольная отказом Жанны на них работать, советская агентура переслала французам бумагу, подписанную Жанной. Кто-то, может быть, из бывших друзей ее об этом предупредил, и, предполагая, что труднее всего будет ее найти в санитарных частях французской армии, Жанна туда и поступила.

❦

Письма Е. Извольской

2-е июня (1936 г.)

Дорогая Зинаида Алексеевна!

Давно больше о Вас ничего не знаю и очень была бы рада знать, как Вы поживаете и что делаете? Сейчас пишу Вам и от своего имени, и от имени И. И. Фондаминского по одному очень интересующему и даже волнующему нас вопросу. В Брюсселе находится сейчас Виктор Серж, коммунист, просидевший в советских тюрьмах и недавно только вернувшийся оттуда. С ним встретился Эммануэль Мунье, директор журнала «Эспри», который теперь сам почти постоянно живет в Брюсселе. Серж согласился на закрытом собрании брюссельского кружка «Эспри» сделать вроде доклада, и нам очень хотелось, чтобы на этом докладе были бы Вы и нам бы о нем рассказали как можно подробнее, ибо Мунье, не будучи очень в курсе русских дел, не может этого сделать исчерпывающе. С другой стороны, Мунье меня спрашивал, есть ли в Брюсселе представители нашей молодежи, которых бы интерсовало присутствовать на собрании. Вот мы с Фондаминским и решили к Вам обратиться. Доклад Сержа будет в самые ближайшие дни, и я попрошу Мунье послать Вам приглашение, но т. к. он очень занят, все время в переездах (Париж-Брюссель), то прошу Вас со своей стороны ему написать примерно к пятнице 5-го июня (в этот день он возвращается в Брюссель) и выразить желание, ссылаясь на меня, присутствовать на собрании.

Адрес его в Брюсселе:

Эммануэль Мунье, 22, рю В. Жильсон.

Если Вы это сделаете, Вы нам окажете огромную услугу, ибо нас очень интересуют впечатления и выводы новейшей левой эмиграции. И вам тоже будет наверное интересно.

Шлю сердечный привет и надеюсь, что Вы сами как-нибудь приедете в Париж.

Елена Извольская

Капбретон
Ланды.

14 июля

Милая Зинаида Алексеевна!

Простите, что до сих пор не написала Вам и не поблагодарила за Ваше милое письмо и за интересный материал совершенно исключительной ценности. Будьте спокойны, Виктора Сержа мы, конечно, не выдадим. Увы! он как раз в Париже теперь, а мне не удалось его дождаться, т. к. очень переутомилась, и пришлось ехать «на покой» в Ланды, тут чудные места и своеобразная комбинация моря, реки и озера, воспетая нашими поэтами (Бальмонтом).

Спасибо за предложение перевести что-нибудь из Пушкина для сборника. Но я не решаюсь! Слишком я сейчас страдаю от убожества своих переводов и слишком люблю Пушкина!!

Вы и Марина Ивановна, будучи сами поэтами, отлично это сделаете. Когда Вы появитесь в Париже? и почему так редко приезжаете? Еще раз сердечное спасибо и привет.

Елена Извольская

«Русская Мысль», № 3101
1976 г.

ОБЩНОСТЬ НАДЕЖДЫ И ОПАСНОСТИ

Сколько тысячелетий у каждого из нас за спиной. Кто может сосчитать своих предков, разобраться в своих генах, в сложной и многоплеменной крови, пульсирующей в нас, но только твердо знаем мы, что помимо всего того, что роднит нас со всем человечеством, — неминуемость нашей смерти — есть и то, что нас разделяет не только от чужих, но и от родных по плоти. «Равного мне никого нет и в добре и в зле». Но несмотря на это, единственная и неповторимая человеческая личность все же чувствует себя связанной с какой-то средой, страной или культурой. Мы единственны и мы соборны. У каждой страны тоже своя личность, оттого-то, хотя исторически создались большие страны и страны-континенты, центробежная сила, скажем, племенной памяти, все стремится разрушить единство больших стран и рассыпаться дробью этнических групп. Есть личность и у России с судьбой оригинальной и удивительной, страны европейской, но тесно слившейся с Азией, ставшей мостом между двумя континентами.

В ходе истории, спорадически отталкиваемая Западом или сама от него отталкивающаяся, своих истоков она забыть не может и всегда помнит свое «вто-

рое отечество». Антиномии между русской культурой — а не это ли главное — и французской, германской, английской, и т. д., нет. Говорю по опыту — принадлежа и к русской, и к французской я не чувствую раздвоения. Все они дополнительны и взаимно влиятельны — когда границы открыты. Зародились европейские страны из одного и того же духовного источника, несколько заглушенного теперь на Западе «передовыми» влияниями, скованного в России тоже «передовой» идеей марксизма. Замечу, чтобы подчеркнуть и разницу: Западная Европа оканчивается там, куда не вступили с Pax Romana Римские легионы, принесшие законы, дороги, акведуки Рима. Рим цезарей оставил отпечаток и на Западной Церкви. А Россия и другие страны Восточной Европы привились к другой ветви христианства — Византийской, но и та, и другая ветвь, несмотря на отделения церкви от государства и на богоборческие волны современности, остались частью и основой европейской культуры.

Пропасть, отделяющая сейчас Россию от Европы, определяется только режимом, захватившим над ней власть, и в корне русскому народу наиболее чуждым, поскольку русский народ внутреннее, инстинктивно, чувствует, — мы это можем проследить на протяжении веков, — примат духовного над материальным. Вот в этой его особенности он бы как раз и мог пригодиться Западу, более одаренному в другом плане — Западу, уже не удовлетворенному идеалом Общества Потребления, которое, кстати сказать, дало такие глубокие трещины, что грозит развалиться.

Бывает, десятилетия спит история. Так было накануне первой мировой войны, когда мир казался незыблемым, но вот она понеслась не галопом, а в карьер, благодаря развитию науки. За одно поколение увидели мы, как исчезают государства и нарождаются новые, стираются границы между невозможным вчера и возможным сегодня. Прогресс перерос человека и человеческое. «Прогресс — доктрина ленивых», записал Бодлер. Уже в начале века ученый и философ о.

Павел Флоренский был против плоской и наивной, по его мнению, теории прогресса, как пишет в своем очерке Евгений Модестов: «Флоренский был одним из величайших в истории мысли ясновидцев прерывности в движении не только идей, но и исторических событий и процессов в природе» *).

Об этом говорит его книга «Столп и утверждение истины». Он предвидел в историческом аспекте «будущую катастрофу не только русской государственной жизни, но и всего комплекса мировой общественной системы».

Но никто на Западе голос Флоренского не услыхал. Человек стал абстракцией или предметом. Прогресс же стал орудием принижения личности. Мы все еще нагружены старыми понятиями, живем мифами, но мифология нашего времени менее поэтична и менее символична. чем мифология древности, за которой таился глубокий смысл — взять хотя бы ящик Пандоры.

Во всех свободах, о которых кричат масс-медии, мы не отыщем и признака подлинной, той, которая не зависит от тиранов — Хроноса и Власти, — внутренней свободы человека. Свобода это прежде всего духовная способность отдельной личности противостоять злу. Кто свободнее, Солженицын или Брежнев? Но не об этой свободе говорят и не за нее борются, не ей учат.

Миф другой: равенство. Нет глупее и безнравственнее общепринятого понятия, рожденного, вероятно, из зависти к лучшим или более удачливым. Никто никому не равен, даже в своих страданиях, даже в момент смерти. И перед лицом закона за то же самое преступление не одна и та же кара будет справедливой. Кому больше дано, с того надо больше и взыскивать. И народы не равны, хотя все достойны уважения, но дары у всех различны. Не из одних скрипок формируется симфонический оркестр. У каждого своя роль и призванье. А вот во имя этого ми-

---

*) «Мосты» № 2, Мюнхен, 1959.

фического равенства утверждают, что всем странам мира следует иметь одинаковые формы правления, не задумываясь о возможных результатах.

И так из революционного лозунга, придуманного в минуту экзальтации одним из самых умных народов мира, остается одно не мифическое утверждение братства. Каин был братом Авеля, с этим спорить нельзя. Но вот именно братство — не миф — трудно воспринимается человечеством.

В головокружительном движении нашего времени протаскиваем мы фразеологию прошлого века. Не решен еще спор, нужна ли идеология для государства или нет, но во всяком случае — новую идеологию пока никто не выдумал. Слова же 19-го века — не что иное, как пустые скорлупы. Теперь социализм означает совсем разное для западных стран и для восточных, и долго еще, в частности в России, будут его отвергать, как проклятье.

Задыхающееся, в точном смысле этого слова, от наших изобретений человечество плывет без руля и без ветрил в неизвестность, и нет ему опоры, потому что принижены духовные и моральные его исканья. Иногда прорывается неуклюжий протест против угашанья духа материей — как в 1968 году движенье западной молодежи. Нужды нет, что яростно тогда восставшая против скуки общества потребления молодежь эта, едва забрезжила опасность этому обществу, приумолкла и начала подумывать об обратных проблемах. Все же протест был. Но что меня поражало и угнетало в моих тогдашних разговорах с протестующими, это что оперировали они какими-то отрыжками нашего 19-го века и, опираясь на бородатого старца Маркса, могущего быть даже и моим дедушкой, выражали мысли и идеи русских шестидесятников, мехи ветхие и никак не оригинальные для молодого вина.

Можно ведь уже подвести итог кое-каким (иллюзорным на практике) осуществлениям. Принесла ли подлинную культуру массам масс-медия? Расширили ли кругозоры туристические перемещенья обы-

вателей? Или миллионы книг, расходящихся среди них? Заменив преображенного Эроса уничтожением всех сексуальных запретов, умножили ли в мире любовь? Борьба за свои права не повела ли к игнорированию своих обязанностей? Тут следовало бы найти равновесие.

От человека можно требовать очень многое, но вошло в привычку требовать от него предельно малого, и в этом может быть разгадка современного кризиса.

Совсем не удивительно поэтому, что голоса, идущие из страны произвола, сильнее голосов, идущих из пока счастливых стран. Будут ли они услышаны, дело другое.

О М. Булгакове

ЕЩЕ О «МАСТЕРЕ И МАРГАРИТЕ»

Появление в СССР, даже в ущербленном виде, «Мастера и Маргариты» — необыкновенное событие, и пожалуй самое значительное в советской литературе за долгие годы. Роман этот всколыхнул интеллектуальные круги страны сильнее чем «Доктор Живаго», не только потому, что в нём больше литературных достоинств, но потому, что в нём больше духовной энергии. Михаил Булгаков сейчас наряду с Солженицыным, — самый любимый писатель в России. Если Виктор Некрасов испытал «радость когда зазвучали искренние речи Турбиных», то с неменьшей радостью читаются сегодня в СССР неизданные рукописи Булгакова.

Что же собственно захватило и заинтересовало советских читателей в творчестве Булгакова? Повидимому не только его едкое обличение советской действительности, не только сатирическая острота этого мастера гротеска, литературного Иеронимуса Боша, но главным образом одухотворенность, которой это творчество насыщено.

(Вызов Булгакова социалистическому реализму. Доклад, прочтённый на международном симпозиуме о советской литературе в Мюнхене в 1968 г.).

«Мастер и Маргарита» — книга-ребус, книга-загадка. Дело не в том, что кой-какие пассажи книги были изъяты цензурой — эти изъятые пассажи интересны главным образом потому, что они указывают на психологию цензора, — и не в том, что другие пассажи этой гениальной книги, частью сожжённой и воссозданной, недостаточно обработаны. Книга эта загадка потому, что загадочна сама духовная природа человека, что она не поддается плену слов, или проверке логикой. Вот эта-то загадочность, в стране, где мистика и метафизика под запретом и делает из «Мастера и Маргариты» недвусмысленный вызов социалистическому реализму.

В своём письме правительству СССР, в 1930 году, 39-летний Михаил Булгаков написал:

«Я мистический писатель. Я изображаю страшные черты моего народа». Это письмо вообще чем-то схоже с посланиями Протопопа Аввакума, бросающегося на самоуничижение, и Булгаков, обличая самого себя перед властями, в том же письме признаётся: «я уничтожен». Революция и коммунистический строй с молодости казались Булгакову, сыну профессора Киевской Духовной Академии, дьявольским наваждением. Уже в одном из своих ранних рассказов «Роковые Яйца» писатель демистифицирует революцию аллегорией: на образцовом курином производстве, под действием «Луча Жизни», вместо особых гигантских кур, вылупились из яиц гигантские гады.

Сумятица, царящая в СССР, для Булгакова пушкинская Вьюга, бес водит народ и кружит его по сторонам. Люди же, по Булгакову, в сущности добрые, — но они подпадают под действие злой силы и «беснуются тяжко».

Врач по образованию, писатель по призванию, Булгаков одно время служил в каком-то советском учреждении. Там он воочию убедился, что, цитирую: «хаосом этим управляет сам чёрт». Чёрт этот принимает впрочем всякие разновидности. В «Диаволиаде» или «Повести о том, как близнецы погубили дело про-

изводства», он чёрт бытовой, мелкий бес, в «Мастере и Маргарите» Воланд рыцарь и князь тьмы.

Узкий, мещанский, плоский путь марксизма — мишень творчества Булгакова, выбравшего, как и его учитель Гоголь, смех орудием осуждения. Материалистический мир ему отвратителен и «уничтоженный» советской властью писатель будет двенадцать лет писать сложнейший по тематике, богатейший по словесному цветенью, многоплановый роман, обличая тех, кто душит свободную мысль, напоминая, что малодушие, страх перед власть имеющими — тяжкий грех. — «Не бойтесь убивающих тело, душу же не могущих убить». Грех Пилата — страх перед врагами праведника...

«Мастер и Маргарита», несмотря на своё гётевское название, глубоко русская книга. Она отображает бурное вторжение иррационального элемента в скучную обывательщину. Мы найдём в ней отзвук всех мировых противоречий и утверждение высокой человеческой правды. Основы книги: Евангелие и гоголевское видение «свиных рыл» и «мёртвых душ». Видно в ней конечно и знание автором произведений Раблэ и немецких романтиков — и впечатление произведённое на него «Осужденьем Фауста» Берлиоза.

Булгаков творчески переработал для «Мастера и Маргариты» свою собственную биографию. Он знал, что если искусство открыло Мастеру двери в духовный мир, оно не сделало его автоматически святым, ни даже праведным, и оттого усталый Мастер мечтает не о райской радости, а всего лишь о великом покое.

Особо тщательно, особо великолепно написаны страницы о Понтии Пилате. Тут — опять ребус. Почему эти главы не совпадают с евангельским повествованием? Профессор В. Н. Ильин, написавший интереснейший разбор «Мастера и Маргариты» («Ведьмы и коты в сапогах и без сапог». Возрождение № 193, январь 1968 г.), предполагает, что это оттого, что запись Мастера идентична с рассказом личного свидетеля событий в Иудее, сатаны, отца лжи, не могу-

щим не исказить истину. Во-вторых, пишет проф. Ильин: «Такому большому мастеру было бы странно заниматься пересказом евангельского повествования, ибо он верх совершенства и тема эта сверхчеловеческая».

Как бы то ни было, страницы о Понтии Пилате — стержень всей книги.

Что, собственно говоря, случилось в Москве по Булгакову? В пошлый мир советчины грозой ворвалась потусторонняя сила. Совершенно гениально начало книги. О существовании Иисуса Христа свидетельствует сам сатана. Это так и должно быть конечно, ибо в мире где отрицают Бога, забыт и дьявол. Утверждая существование Бога, сатана доказывает и своё собственное. Но если, дав человеку свободу, Господь не желает её ограничивать очевидностью и неоспоримостью своего бытия, то дьявол, — проблемой свободы и свободного выбора не занятый — хочет установить фактами, что он не миф.

Что он, по Алексею Толстому, тот самый, кто:

Хотя не Слово я, зато я все слова,
Всё двигаю собой, хотя я сам не движусь,
По математике — я минус,
По философии — изнанка Божества.

Всё готово для Вальпургиевой ночи. В Москве в среде мелкотравчатой пошлости и административной волокиты, начинают происходить некие события. Совсем не по Марксу и не по Ленину целый ряд граждан делают внезапно прыжок из царства необходимости в царство сатанинской свободы. Всё что было достоверно, что принято было за достоверность, распыляется и пылает. Аннушка разлила подсолнечное масло и послушный всем указам коммунистического общества материалист Берлиоз теряет, совсем не в переносном смысле, набитую чепухою голову, как будто только для того, чтобы доказать поэту Ивану Бездомному, т.е. в сущности всем живущим в цар-

стве социалистического реализма, что реальность — это что-то совсем иное, чем то, что они думали.

Привычный мир распыляется и пылает. На сцене, где орудует таинственный гастролёр, чудесно возникают заграничные платья, башмаки, флаконы духов, рубли, и всё это так же молниеносно исчезает. На улицах переполох: некоторые гражданочки, выйдя из театра, оказались голыми: пойманные там же зрителями рубли становятся то компрометирующими долларами, то трухой; без всякой причины лопаются стёкла в новом здании Драмлита, пылает Массолит; в директорском кресле «Варьете» сидит костюм в котором нет человека и спокойно звонит по телефону, и самое удивительное — лучшие снайперы испытанных частей особого назначения, стреляя в упор по учёному коту, в цель не попадают.

Безнадёжно запутывая все события, вдребезги разбивая рутину их жизни, ошеломляя советских граждан иррациональностью того, что с ними происходит — сатана занят демонстрацией мира невидимого.

Понятно конечно, что «Мастер и Маргарита» всколыхнул скучное болото советской литературы и пробудил в жадных до живого слова читателях желание разгадать тайну, криптографически вложенную в это блестящее и напористое произведение, написанное живым и богатым языком, то в торжественном стиле библейского повествования, то простонародным «вяканьем», то типично советским жаргоном.

Роман Михаила Булгакова не только даёт пищу для размышления, он ещё и толчок к духовному действию. Он духовен активно и кое-что в нем действительно «смешнее самого чёрта». Музыкальная природа языка Булгакова придала симфонический размах его произведению, — в него входишь, как в концертный зал. Но за музыкой этой раскрывается дисгармония мира, в котором он её писал. Пассажи, может быть не сразу понятные живущим за рубежом, сразу понятны советским людям. Они знают, что в сумасшедших домах СССР наука частенько вылечи-

вает человека от его человечности, они не могут не радоваться, что даже сам сатана, до Страшного Суда, расправляется с подлым писателем Берлиозом и с доносчиком «стукачом» бароном Майгелем. Они замечают, что неспроста молодой Иван Бездомный, с бумажной иконкой на груди и с зажжённой свечёй в руках, смог пройти до Дома Грибоедова не будучи задержан милицией.

Живой, освежающий поток булгаковского творчества (и мифотворчества) увлекает их в новое измерение, призывает их к внутренней свободе и, по всей вероятности, советские читатели, читая о борьбе советских чиновников с нечистою силою, стоят за эту последнюю, бесовскую, более пикантную; уж очень тупы и ограничены силы по эту сторону зримой действительности.

Реально существующая гора Голгофа (это слово на арамейском языке означает череп) перекликается с другой, Лысой горой. На первой князь мира сего торжествовал свою временную победу, на второй Воланд праздновал свою малую победу, доказав не только своё существование, но и своё участие в беспорядках земли. Королевой на балу была Маргарита, ставшая ведьмой из любви к Мастеру. Вероятно М. Булгаков думал о тех жёнах и матерях, которые ради любви к своим близким соглашались на отступничество. Мастеру будет возвращена его сожжённая рукопись и, даже, дано будет ему увидеть своего героя, наконец прощённого. Но едва мёртвые Мастер и Маргарита покинули «пряничные башни Девичьего монастыря», как «изменился облик всех летящих к своей цели».

Хромой Воланд стал чёрным рыцарем со шпагою, конь его, глыбой мрака. Азазело, демон убийца, когда-то рыжеватый и кривой, с клыком и когтями, заблистал сталью доспехов и оба его смертоносных глаза стали одинаково пустыми и чёрными. Коровьёв — Фагот, дьявольский переводчик в драной цирковой одежде, стал тёмно-фиолетовым рыцарем с мрачным, никогда не улыбающимся лицом. У Кота-Бегемота,

глумливого толстяка с кошачьим лицом, демона поджигателя, «ночь оторвала пушистый хвост, содрала с него шерсть. Бегемот стал худеньким юношей, демоном-пажем».

Булгаков отступает от сатиры. Сатире и иронии, по ту сторону жизни, делать нечего. Там надо «слушать беззвучие».

А на покинутой Мастером и Маргаритой земле всё ещё продолжают граждане, не понявшие истинную природу вещей и значение случившегося, тащить в органы государственной безопасности изуродованных чёрных котов...

«Русская Мысль»
1 августа 1968 г.

ЧЕТЫРЕ ПОВЕСТИ

Пересев в Москве из брички в автомобиль и летя в нем по московским буеракам, Чичиков ругательски ругал Гоголя:

— «Чтоб ему набежало, дьявольскому сыну, под обоими глазами по пузырю, в копну величиною...

. . . .

И размышляя таким образом, въехал в ворота той самой гостиницы, из которой, сто лет тому назад выехал. Все решительно в ней было попрежнему...

«Похождения Чичикова»
Булгаков.

*

Михаил Булгаков — самый таинственный русский писатель современности. «Нюренбергская дева» *) русской истории XX века его не миновала. Она сжала

*) Средневековое орудие пытки.

его в своих объятиях, как и многих, многих других писателей и поэтов послереволюционного периода.

Три писателя за последние 15-20 лет всколыхнули — каждый по-своему — сознание и совесть русского народа и напомнили Западу, что русская литература — литература мировая.

Пастернак, Булгаков, Солженицын. Первые два сформировались в старой России в совершенно разной среде и совершенно разных традициях. Солженицын — ровесник революции, язык его выражает новую эпоху, но корни его творчества легко проследить к Толстому. У Солженицына, как и у Толстого явственна «власть тьмы», — но не ощущается «нечистая сила». В их произведениях есть злые люди, злоба которых делает несчастными не только их жертвы, но и их самих. Метафизика и у Толстого и у Солженицына как бы зачаточная.

Метафизика — краеугольный камень творчества Булгакова. Зло и добро у него не абстрактны и это согласуется с многовековым духовным опытом русского народа, для которого Бог и чёрт — не абстракция, а единственная реальность преходящего земного мира. Не только эта предпосылка роднит Булгакова с Гоголем. Легко можно увидеть и некоторую общность их судеб: страдальческую кончину, сожженную рукопись...

После Булгакова осталось большое, и нам неизвестное, литературное наследство. В сущности, мы еще мало о нем знаем, но все растет, несмотря на препятствия, его человеческий и художественный облик и притягивает нас тайна, которую писатель заключил под охрану точно им выбранных слов, оставив читателям и литературоведам труд и радость ее расшифровки.

В своей статье «На Гоголевские темы» проф. Ульянов **) упоминает о повести «Уединенный домик на Васильевском», написанной Титовым по рассказу Пушкина. Она заканчивается словами «откуда у чер-

---

**) Новый журнал, № 94. Нью-Йорк.

тей эта охота вмешиваться в людские дела». Тот же самый вопрос ставит в 4-х своих рассказах, как и, в сущности, во всем, что он написал, Михаил Булгаков.

Если Пушкин почуял столичных чертей в Санкт-Петербурге, то совершенно естественно у Булгакова столичные черти взвихрились в Москве. А провинциальные, подобно гоголевским, продолжают вносить сумятицу в захолустья СССР.

Не предвидел профессор Персиков, из повести «Роковые яйца» ***) — ученый зоолог, специалист по голым гадам, не читающий газет, что произойдет от открытого им таинственного луча, оживившего «сереньких амеб словно волшебным образом». Чистая наука под давлением экономии и под присмотром властей предержащих, принуждена была взять утилитарный курс. У Персикова отобрали его детище. Надо было восстановить советское куроводство — курятники опустели от мора.

Профессора включили в состав чрезвычайной комиссии по борьбе с куриной чумой. Заведывал же животноводством тов. Птаха-Поросюк (изобретательность в приискании имен для своих героев у Булгакова тоже сродни гоголевской). Скоро перед профессором появился новый персонаж.

«Там до вас, господин профессор, Рокк пришел — доложил ему сторож Панкрат, — с казенной бумагой с Кремля».

«Рокк с бумагой? Редкое сочетание, — вымолвил Персиков».

Роковая бумага тов. Рокка была ордером на вывоз «красного луча» из лаборатории в показательный колхоз «Красный Луч».

В колхозе, бывшем поместье Шереметовых, камеры ученого были установлены в бывшей оранжерее. Яйца, присланные из заграницы, были разложены, луч на них направлен. И тихим деревенским вечером за-

---

***) Михаил Булгаков. Сборник рассказов. Изд. им. Чехова. Нью-Йорк.

выли в окрестных деревнях собаки, миллионами голосов заквакали в прудах лягушки. Утром — в рощах установилось молчание. Птицы их покинули.

А затем, хоть пустые скорлупы яиц и валялись в ящиках, — цыплят нигде не было видно. Тов. Рокк, захватив свою флейту, пошел к пруду купаться; стояла невыносимая жара. За ним следом пошла и жена его Маня; и вдруг, из зарослей «сероватое и оливковое бревно начало подниматься, вырастая на глазах. Змея, приблизительно в 15 аршин, и толщиною с человека, выскочила из лопухов».

Черт, при содействии властей, занялся делами людей и под лучом Персикова вылупились с необычайной скоростью не куры, а гады!

Рокк услышал как лопались в кольцах змеи кости жены, как «змея надела свою голову на голову Маши и стала налезать на нее, как перчатка на палец».

Неслыханное бедствие покатилось по стране. Жертвами гадов стали местные агенты ГПУ, вооруженные «электрическим и пятидесятизарядным револьвером, модель 27-го, — гордость французской техники для близкого боя». Гигантский ящер, крокодил и боа были сильнее оружия.

И когда куриные яйца, совершенно ему не нужные, были присланы Персикову — змеи и гады стаями шли уже на Можайск. Крокодилы и страусы, и анаконды наполнили лес у Вязьмы. А скоро, — в Москве «вспыхивала трескучая тревожная стрельба поверх толпы — это воинские части останавливали панику сумасшедших бегущих по стрелкам железных дорог из Смоленской губернии на Москву. В квартирах роняли и били посуду... и сматывали узлы... Все вокзалы были оцеплены густейшим слоем пехоты. Громадные грузовики увозили запасы золотых монет из подвала народного комиссариата финансов.

«Выручайте братцы!», завывали с тротуаров; «бейте гадов... Спасайте Москву!».

Вместо гадов, самосудом, убили профессора Персикова. «Сторож Панкрат с разбитой головой, истоптанный и рваный в клочья лежал в вестибюле... Низ-

кий человек, на обезьяньих кривых ногах... дорвался до Персикова и страшным ударом палки раскроил ему голову.. ни в чем не повинную Марью Степановну убили и растерзали в кабинете, камеру где потух луч, разнесли в клочья... и позднее, пожарные автомобили, насасывая воду из кранов лили струи во все окна, из которых, гудя, вырывалось пламя»...

Не армия, потерявшая три четверти своего состава, остановила движение пресмыкающихся, — их задушил мороз.

В «Роковых яйцах» — несмотря на юмор и на развлекательность повествования — живо чувствуется чертово серное дыхание и если вчитаться в этот рассказ, то открыть в нем можно многое.

«Диаволиада» — повесть о том, как близнецы погубили «делопроизводителя» — менее зловеща, но и она читателя беспокоит. Неурядица в данном случае чисто обывательская. — Дело начинается с того, что служащим жалование выдается продуктами производства. Не без какой-то тайной мысли автора — продукты производства в данном случае церковное вино и серные спички. «Она (спичка) с шипением вспыхнула и погасла. Коротков задохнушись от едкого черного дыма... зажег вторую. Та выстрелила и два огня брызнули от нее..., второй попал в левый глаз товарища Короткова».

Коротков всю ночь лежа чиркал спичками; из трех коробок зажглись только 63 спички. «Под утро комната наполнилась удушливым, серным запахом». Кто эти близнецы, запутавшие жизнь Короткова? На что они похожи? «Неизвестный был настолько маленького роста, что достигал Короткову только до талии...

Квадратное туловище сидело на искривленных ногах. Причем левая была хромая».

Голова «гигантская модель яйца», лысая она была тоже, как яйцо, а «зеленые маленькие, как булавочные головки, глаза сидели в глубоких впадинах» — фамилия же была: Кольсонер.

Куда ни ткнется делопроизводитель, всюду перед

ним Кольсонер. Как ему под бесовским началом избежать суматохи и запутанности? Коротков теряет даже свои документы, т. е. почти личность.

«Меня нельзя арестовать», — ответил Коротков и засмеялся сатанинским смехом; «потому — что я неизвестно кто. Конечно, ни арестовать, ни женить меня нельзя». Из кроткого, забитого чиновника, брата Акакия Акакиевича, Кольсонеры сделали вроде как бы маятник.

«Ничего не понимая, Коротков косо и застенчиво улыбнулся, взял канделябр за ножку и с хрустом ударил странного «Дыркина» по голове свечами. Затем взмахнув канделябрами он ударил ими часы, которые ответили «громом и брызгами золотых стрелок». После сего Короткову пришлось бежать и отбиваться от преследователей бильярдными шарами. С высоты московской крыши бросал он шары вниз на «жучки — народ», но уже: «с хрустом и треском стекол, в проломе бильярдной показались люди, серые фуражки, серые шинели» и странный бритый Кольсонер «уже Коротков видел протянутые руки, уже выскочило пламя изо рта Кольсонера».

Скромный герой «Диаволиады» «подпрыгнул и взлетел вверх... неясно, очень неясно, он видел как серое с черными дырами, как от взрыва взлетело мимо него вверх. Затем очень ясно увидел, что серое упало вниз, а сам он поднялся вверх...»

Третий рассказ: Дом № 13. Это роскошный дом богача Эльпит, в 75 квартир. В нем жила красавица де Боррейн. В нем бывал Распутин. Стояли у подъезда лихачи. «Был дом... большие люди, большая жизнь», «А в зимние вечера бес, прикинувшись вьюгой, кувыркался и выл под железными желобами крыш.

И ничего не стало.

Sic transit gloria mundi.

Страшно жить, когда падают царства и сама память стала угасать. Да...

А вещи остались. Вывезти никому не дали».

На доме Эльпита появилась таблица «со странной надписью. Рабкоммуна. Пианино умолкли, но

граммофоны были живы и часто пели зловещими голосами...» «...примусы шипели по-змеиному... и днем и ночью плыл по лестницам щиплющий чад. Из всех кронштейнов лампы исчезли, и наступал ежевечерне мрак».

Эльпит скрывался на другом конце Москвы. Он поручил Христи, бывшему управляющему домом, который стал смотрителем рабкоммуны и жил в полуподвале, смотреть за домом — сберечь его, — топкой. Взятками Христи доставал для топки нефть, — но раз, взятку взяли, нефти не выдали. Появились в комнатах дома «черные буржуйки». «В квартире № 50, комнате № 5, стало, как в раю. За черными окнами была бесовская метель, а в маленькой печечке танцевал огненный маленький принц, сжигая паркетные квадратики».

Начался пожар. «Огненный король заиграл рапсодию»... и тут уже ад, чистый ад! «На бледневшем небе колыхался, распластавшийся, жаркий оранжевый зверь»... «И на небе не осталось никакого знака, что сгорел знаменитый дом № 13, дом Эльпит — Рабкоммуна».

«Похождения Чичикова», — (начало этой вещи я поставила эпиграфом моей статьи) — возвращает в Россию гоголевских героев, но уже советскую. Они быстро осваиваются с новым веянием. Чичиков, очаровав всех своей эрудицией, заполнил все анкеты. Собакевич пристроился при выдаче пайков. Ноздрев, встреченный Чичиковым на Кузнецком, рассказал ему о поставке заграницу кавказских кинжалов, угостил французским коньяком, пахнущим самогоном и Чичиков с легкой, ноздревской руки, заполнив новую анкету, стал заниматься внешней торговлей: «В скором времени очутились у него пятьсот апельсинов капиталу». На ведомостях его красовались подписи старых знакомых: Неуважай-Корыто, Кувшинное Рыло, председатель: Елизавет Воробей. И выдали Чичикову под его предприятие $n + 1$ миллиард.

Погиб же воскресший Чичиков «как правильно предсказал Гоголь», из-за пьяного вранья Коробочки,

расспрашивающей кого не надо «когда ей можно в манеже булочную открыть?». Петрушка — курьер, Бобчинский — инструктор, Селифан — шофер, «как всякий русский любящий быструю езду» и въехавший в магазин через окно — все нашли себе применение в СССР. А когда дело дошло до расследования, — автор не выдержал, сказал: «Поручите мне... я справлюсь единолично». «Регистраторшу Манилову в шею, Собакевича — взять его. Схватить его! и его! и этого! Ноздрева в подвал». А бриллианты, запрятанные в животе Чичикова? Дело простое — «Взрезать его мерзавца!»

Вскрыли его. Тут они.

— Все!

— Все-с.

— Камень на шею и в прорубь!

И стало тихо и чисто.

И я по телефону:

— Чисто.

А мне в ответ:

— Спасибо. Просите чего хотите».

Автор, так умело разобравший сложное лело, презрев фунт сахара и лампу в 25 свечей, попросил... сочинения Гоголя.

Но когда он проснулся, Гоголя на его столе не было.

❦

В четырех рассказах весь Булгаков, все его темы, все его словесное мастерство, его талант рассказчика, его убедительная фантастика — убедительная потому, что она реальнее действительности и раскрывает человека вглубь. Тут же и все образы, символы зла и мрака, которые позднее найдут свое выражение в Мастере и Маргарите. Легион мелких бесов, как Кольсонер с «привязным, как и борода, голосом», идущий в зловещем, синеватом сиянии, как «Алонзо» Бронский, — корреспондент «Красного Огонька» и «Красного перца» и сотрудник ГПУ, — «одетый в узкий и

длинный до колен пиджак...» у него: «неестественной ширины лакированные ботинки с носом похожим на копыто».

Есть и кот, одно из превращений Кольсонера, «черный кот с фосфорными глазами, стремительно и бархатно пересек площадку, исчезнув в разбитом стекле и паутине».

И всюду пожар, огонь, пламя. Горят леса под Можайском, печи открывают огненную пасть, московские дома, рабкоммуна, все пылает и горит, очищаясь от темной силы.

Фантастика? Символика? Метафизика? Ключ к пониманию мира великого русского писателя Михаила Булгакова скрыт, как клад, в каждом его произведении.

«Русская Мысль»
22 мая 1969 г.

ПО ТУ СТОРОНУ СТРАХА

Чувство страха присуще всему животному миру. Страх так же естественен как дыханье. Он живет в нас с момента нашего рождения, может быть и в бессознательной утробной жизни. Дикарь и ученый ему равно подвержены, и тот человек, который утверждает, что никогда в жизни не испытал страха, — или говорит неправду, или анормален, как анормальны те люди, которые — не знаю медицинского названия этой болезни — не ощущают физической боли.

Ребенок боится темноты, силы и непонятности окружающего его мира, один человек боится грозы, другой болезни, старости, потери места или денег, почти все боятся смерти, хотя далеко не все боятся Бога. Страх один из самых сильных человеческих инстинктов и, как и все другие наши инстинкты, мы можем его сублимировать и превращать его в его обратное — храбрость и доблесть. В страхе нет ничего унизительного. «Трепещи, скелет» говорил храбрейший полководец Тюрен, бросаясь в атаку. «Скелет» - тело его, трепетало, но воля обуздывала тело. Унизительно только позволять страху нами властвовать.

В человеке, существе одаренном творческим воображением, и к тому же единственном, знающем, что

он обречен смерти, воображаемые опасности часто страшнее, чем реальные. Мы знаем, даже не испытав этого, что мы можем быть уничтожены термоядерным оружием, заболеть раком. быть убитыми в автомобильной катастрофе... Газеты, книги, радио, телевиденье нашего времени ежедневно поддерживают в нас тревогу за нашу судьбу.

И только немногие помнят или знают, что страх может быть побежден и что он болезнь духа. Протопоп Аввакум, Василий Шибанов стремянный, Иван Сусанин, Суворов — среди многих других русских людей прошлого — нам тому примеры. Я оставляю умышленно в стороне Святых мучеников, с радостью идущих на мучения, так как не о святости пишу, а о гражданском мужестве.

Преодоление страха — одна из задач всякого человека. Ему надо учиться с детства, как азбуке, завоевывать его в каждом новом отрезке своей жизни. Сама природа приходит нам на помощь. В минуту опасности, если есть у нас воля вырваться из страха, этого паралича души, тогда адреналин войдет в нашу кровь и позволит нам дать отпор тому, что нам угрожает.

Интересно сопоставить тему страха в творчестве двух больших писателей нашего века, Жоржа Бернаноса и Михаила Булгакова. Свою пьесу «Диалог Кармелиток» французский католический писатель писал уже пораженный смертельной болезнью — она была его последним произведением. Пьеса была вдохновлена повестью немецкой писательницы Гертруды фон Лефор, основанной в свою очередь на подлинном эпизоде времен французской революции.

Сюжет ее таков: 17 монахинь кармелитского монастыря предпочли, во время террора и религиозных преследований, смерть на эшафоте скрытому исповеданию своей веры. Одна из монахинь, молоденькая Бланш де ла Форс, с детства уязвленная страхом и от этого страха укрывшаяся за монастырскую ограду, не могла на это решиться. Но когда, затерянная в толпе диких зрителей кровавых казней, она увидела

своих сестер с молитвою входящих на эшафот, — освобожденная от страха она пробралась к гильотине и добровольно взошла на него последней.

Бернанос по-своему осветил эту трагедию. Все его творчество проходило под знаком «соблазна» агонии. Всякая смерть для него была отсветом Смерти Спасителя.

«От Оливковой рощи до Голгофы, знай, что Спаситель пережил и воплотил заранее все агонии, даже самые унизительные, самые тяжкие, то есть — твои».

Эпиграфом к своей пьесе Бернанос выбрал из своей книги «Радость» такую фразу: «В каком-то смысле, видите ли, Страх все-таки Божье дитя, искупленное Страстной Пятницей. Оно не красиво, о нет, иногда осмеянное, иногда проклинаемое, всеми отбрасываемое, — оно присутствует при всякой агонии и молится за человека». В «Диалоге Кармелиток» весь драматизм действия построен на «простой» проблеме, как обычные женщины встретят чудовище страха и, не колеблясь, будут ждать своего полного освобождения от него. Для Бернаноса — подчеркиваю — «Страх, все-таки, Божие дитя».

Для русского писателя Михаила Булгакова, как мы отчетливо видим в его замечательном романе «Мастер и Маргарита», страх не «Божье дитя», а один из самых тяжких грехов человека, грех Пилата, «страха ради иудейского» согласившегося на казнь невинного. Юридически оправданный Пилат — не умыл ли он всенародно руки — фактический убийца, осужденный страдать в одиночестве призрачного мира, пока не вырвет его из его томления, на земле воссоздавший его трагедию Мастер, позволив ему войти не в рай, которого он не заслужил, а в покой.

Чем спасает Мастера и себя Маргарита? Своим бесстрашием, основанном на любви.

Бернанос знал мучительные страдания длительной агонии. Такие же страдания были даны и Михаилу Булгакову, но Бернанос не жил в царстве страха, а Булгаков десятилетиями мучился в стране, где миллионы людей были им скованы. Страх не мог быть

для Булгакова Божьим дитятей, он был дьявольским наваждением, отнимавшим у человека его силу, его совесть, его душу.

Страхом держится и сейчас тоталитарный ад СССР. Но как набат, пробуждая весь город и каждого человека, раздаются в России голоса тех, кого ни лагерями, ни допросами, ни психиатрическими больницами испугать нельзя. Они переступили магический круг страха и где бы они ни находились — они вошли в ту свободу, которая недоступна их преследователям.

Если бы не сотни и не тысячи, а миллионы людей сбросили бы с себя в СССР оковы и позор страха, не довлело бы над ними бесчеловечное иго бесчеловечной власти.

«Русская Мысль», № 2778
1970 г.

О Солженицыне

МУЖЕСТВО ДУШИ

Может быть всего удивительнее в творчестве Солженицына — это острое ощущение радости, присущее его героям, ввергнутым в адский круг страданий, присутствие в них этой «райской гостьи», согревающей своим дыханием оледенелый мир их «хождения по мукам». Радость один из признаков внутренней свободы и, читая Солженицына, как-то, вопреки очевидности, то есть тому, что мы знаем о жизни советских людей, мы видим их свободными.

Живет какая-то таинственная радость в подвижнице Матрене, живет радость и у Нержина, в тюрьме узнающего, что насилие Духа не угашает. От радости душевной до радости примитивной, простой воли к жизни. Природа, вечно стремясь к продолжению рода, напоминает одинокому человеку об этой тяге. «Трубно, жадно и торжествующе ревели ишаки и верблюды — о своей брачной страсти, об уверенности к продолжению жизни» — и жизнь «трубит» в полумертвом Олеге. Воля к ней привязывает изгнанника к новой земле. Насильно выселенный, он и чужую землю освояет, привязывает ее к себе, себя к ней.

«Как это удивительно, что русский какими-то лентами душевными припеленутый к русским пе-

релескам и польцам, к тихой замкнутости средне-русской природы, а сюда присланный помимо воли... вот он уже привязался к этой бедной открытости, то слишком жаркой, то слишком продуваемой».

Никогда не понять благополучным народам и не изведавшим бедности людям простое наслаждение: — «надеть в сумерках белую рубашку — единственную уже с продранным воротником... или раз в месяц кутнуть за два с полтиной, выпить в чайной, между шоферов-чеченцев, кружку пива».

Первая ночь Олега на полусвободе: «счастливо спотыкаясь на неровности двора, он ходил, запрокинув лицо в белое небо — куда-то все шел — как будто не в скучный аул должен был выйти завтра, а в просторный триумфальный мир».

И тут опять чужая земля кажется матерью, а не мачехой. «То ли место любить на земле, где ты выполз кричащим младенцем... Или то, где первый раз сказали тебе: ничего, идите без конвоя».

Не похожи на умилительных старосветских помещиков, никогда не вышедших из своего уютного угла, ссыльный гинеколог с женою. Другая им досталась доля, но мудрость, может быть — протянувшаяся к ним духовной нитью из Саровской, закрытой обители, научила их всему радоваться. «Досталась им буханка светлого хлеба — радость! Подешевело молоко на базаре — радость! Оранжево-розово-ало-багряно-багровый закат — наслаждение!». Жизнь ссыльных вдруг преображается в «сплошную гирлянду цветущих радостей».

Несколько лет тому назад известный французский критик Надо, рецензируя книги советских писателей, сетовал, что все они как-то не могут отделаться от наследия их классиков. Надо не понял, что для русских всегда будет примером только тот писатель, который не отдаляется от человека: только одно словесное мастерство, одна эстетика или оригинальность ради оригинальности для русских, украшенная цветами пустота. Из современной западной литературы человек исчезает так же, как он исчез из за-

падного искусства, роман вошел в абстракцию, предмет в «новом романе» занял место человека, но для русских человек остался тем, вне кого мир, как и литература, пустыня для души.

Все человечество, все человеческое несет в себе творчество Солженицына и радость неотъемлемая часть человеческой жизни. Если вся тварь стенает с человеком, то вся тварь и спасается с человеком. Собаки Кадминых заражаются их благодушием и входят в какую-то круговую поруку добра. «Любовь к животным мы теперь ставим в людях ни в грош, но разлюбив сперва животных — не неизбежно ли мы потом разлюбливаем и людей?» — спрашивает автор. Уж на что несимпатичен приспособленец Русанов, но и он знает радость; «лавиной радости» простой, отцовской, засыпает его дочь, когда он узнает, что ее стихи будут изданы. И сразу Русанов делается для нас приемлемее.

Доктор Вера-Вега «прошла через четырнадцать пустынь» — и вот дошла. «Утром она проснулась и улыбалась. В автобусе ее теснили, давили, толкали, наступали на ноги, но она без обиды терпела все». Неважно, что радость редкая гостья и мимолетная. Она тот огонь, от которого тает лед отчаяния. Доктор Донцова сама обреченная и знающая свою обреченность, — когда смотрит в «глаза, светящиеся радостью» больного Сибгатова, думает «Если это принять от Сибгатова, так она еще счастливый человек».

Да, тут на Западе трудно понять утверждение Олега или самого Солженицына, несчастного из несчастных русской земли «совсем не уровень благополучия делает счастье людей, а отношение сердец и наша точка зрения на нашу жизнь. И то, и другое всегда в нашей власти, а значит человек всегда счастлив, если он хочет этого, и никто ему не может помешать».

«Русская Мысль», № 2730
1969 г.

СВОБОДЫ, ГЕНИЯ И СЛАВЫ ПАЛАЧИ

В двадцатых годах нашего столетия русские богословы, философы и писатели были высланы «за ненадобностью» советской властью. У них не спрашивали, желают ли они или нет покинуть свою страну.

В пятидесятых годах Борису Пастернаку, едва успевшему получить Нобелевскую премию, было предложено выехать за границу одному, без его близких.

В шестидесятых годах, опять бросая вызов цивилизованному миру, та же власть, и опять в самой грубой и неприличной форме, предлагает славе русской литературы, Солженицыну, покинуть родину. Почему ни Пастернака, ни Солженицына не выслали так же просто, как сорок с лишним лет назад других просвещенных людей России?

Ответ совершенно ясен. Вероятно, «свободы, гения и славы палачам» известно, что, так же как и Пастернак, Солженицын не хочет покинуть свою одичавшую и страдающую страну. Для этой страны Солженицын живет и пишет. От высылки он бы отказаться не мог и пошел бы судьбой Овидия в чужие страны, раненый, но живой. Живого Солженицына советской власти не надо. Ей хочется садистски поглу-

миться над жертвой, заставить ее, еще живую, замолчать, видеть ее агонию.

Выбор, предлагаемый писателю не что иное, как глумление и искушение. Что случилось бы, если бы Солженицын согласился и предпочел бы свободу у чужих, как предпочли ее миллионы других русских людей?

Перестал ли Овидий в Румынии быть римским поэтом? «Кто смеет меня учить любви к России» (цитирую по памяти) гневно писал Бунин. Он, как и другие эмигранты, остался с Россией, не без горечи, не без боли, конечно. Я не думаю, что Солженицын поддастся искушению. Он вырос в ужасе коммунистической системы. Он знает, что не коллектив, а отдельные личности воплощают лучшее, что есть в народе, и что в истории русской литературы жертвы, а не палачи вдохновляют искусство... «глаголом жгут сердца людей».

Гонимый Солженицын и есть подлинная Россия, то светлое в ней, за что можно любить русский народ. А вот Шолохов — воплощение всего темного и злого, что живет в русском народе. Имя его стало нарицательным. Пусть посмешил он 4 500 несчастных колхозников, — не могущих обеспечить страну зерном, несмотря на то, что избавились от колорадских жучков — шуточками и намеками о вредителе Солженицыне. К бурной его славе это ничего не прибавит и не убавит.

Фаддей Булгарин рядом с Михаилом Шолоховым кажется очень светлой личностью.

«Русская Мысль», № 2767
1969 г.

ТРИ ЛАУРЕАТА

Самые тяжелые 50 лет современной русской истории ознаменовались тремя торжественными событиями в русской литературе. Живо помнится ликованье, овладевшее всей эмиграцией, когда в 1933 году изгнанник Бунин получил Нобелевскую премию, как чудесный завершитель классической эпохи, и как представитель зарубежной России.

Совсем другое чувство испытали мы, когда Борис Пастернак, автор «Доктора Живаго» стал в 1958 г. в свою очередь лауреатом Шведской Королевской Академии. Нам было страшно за него. Мы знали, что мощный и сумрачный аппарат советского режима, не простивший поэту, посмевшему в век Ленина спрашивать: «Какое, милые, у нас тысячелетие на дворе?» и утверждавшему: «и счастье сотни тысяч не ближе мне простого счастья ста», не простит и гуманизм его романа, рожденного на ценностях старой русской интеллигенции.

Солженицын — явление совсем другого порядка. Он, сверстник октября, чудесным образом сочетает духовные традиции старой русской литературы и одновременно отображает советскую действительность, силою своего таланта преображая ее так, что веришь,

что и ад не беспросветен. Благодаря Солженицыну, еще раз, как во времена Достоевского и Толстого, русская литература засияла снова в литературе мировой. Книги его стали самыми значительными, самыми яркими среди появившихся в разных странах по окончании войны. Это не только потому, что своеобразный писательский талант, даже гений, Солженицына выделяется своею непохожестью на все, что мы читаем, но и потому, что нравственный его облик, чистого, бесстрашного и устремленного к добру человека, является для всех его современников — и совсем не только для русских — примером и символом. Недаром называют его и в СССР, и на западе «Светочем». Свет несет Солженицын через тьму всем, тьмою плененным. Он показывает, что путь к радости ведет через страданья.

Три русских нобелевских лауреата — наша гордость и наша слава. Может быть, прибавился бы к их числу и другой необыкновенный писатель: Михаил Булгаков, смехом боровшийся со злом и призывающий к бесстрашию, но Булгаков умер в 1940 году, когда Самиздат не существовал и слишком поздно, посмертно, дошли его призывы до Запада. Покуда есть в России таланты и голоса, прорывающие ледяное безмолвие двухсотмиллионного народа, мы знаем, что Россия жива.

Чтобы не упрекнули нас в забывчивости, отметим, что Шолохов в 1965 г. получил Нобелевскую премию.

«Русская Мысль», № 2812
1970 г.

О ПРАВДЕ И СВОБОДЕ СОЛЖЕНИЦЫНА

Только большое произведение может вызывать споры и чем значительнее книга, тем значительнее разногласие по ее поводу. Уже приученные к Солженицынскому «почерку» и к определенной тематике его творчества, многие читатели и критики были както захвачены врасплох тем, что им показалось в «Августе Четырнадцатого» нового, или, вернее, отличного от прошлых повестей и романов. Они как-то связывали Солженицына с советской действительностью, плотью от плоти ее или, вернее, духом от плоти ее.

И вдруг Солженицын написал книгу о времени, которого он не знал, которого не был прямым свидетелем, да еще модернизировал к тому же повествование, разбивая главы газетными вырезками, экранизированными иллюстрациями. И вот многие так растерялись, что не заметили, что и в «Круге Первом», и в «Раковом корпусе», и в «Матренином дворе», и в «Дне Ивана Денисовича» персонаж всегда один и тот же, хоть и соборный — русский народ, один герой — Россия, одно направление: к просветленной мудрости того, кто о них повествует.

Хотя «не нами неправда началась, не нами и кончится», но каждый из нас в этой неправде должен жить по правде, не втягиваясь душой в события, не поддаваясь черным страстям политики, сохраняя «живое сердце, ум свободный и правды пламень благородный» среди всех испытаний и всего зла, нас окружающего.

У Солженицына нет высокомерного желания укрыться в «башне под семью замками» и оттуда с презреньем смотреть на заботы и горе людей. Наоборот, он в них всегда включен не только личной своей трагической судьбой, но и включает в них судьбу всякого человека. Кажется почти невероятным в наши дни, когда, живя иррационально, общество воображает, что оно нашло (или найдет) разрешение всех вопросов в рациональном мышлении, что разум правит историей и законы человеческого строя независимы от законов мироздания. Солженицын утверждает обратное: «История не правится разумом»... «законы лучшего человеческого строя могут лежать только в порядке мировых вещей — в замысле мироздания и в назначении человека».

На личном и на всеобщем советском опыте познавший, что таит в себе неправильное и неправедное понятие свободы, не веря, что власть или общество могут дать, или воспитать, в человеке ту внутреннюю свободу, которую никакое насилие не может от него отобрать, Солженицын образ этой внутренней и независимой от тирана свободы и несет через все свои книги и показывает путь к ней.

Среди пустых слов и трескучих фраз о гражданских добродетелях, о революциях, о социальной справедливости, среди интриг начальства, соперничества и зависти, выступает, как антитеза, не только скромная и, как будто, бессильная честность и жертвенность отдельных лиц, но и весь русский народ, как нечто цельное и в «темноте» своей инстинктивно ведущее свою собственную линию.

«Август Четырнадцатого» построен на свободе человека от событий. Свобода каждого в том, чтобы умно и верно, духовно откликнуться на эти события. Что означает разгром армии Самсонова в истории всего мира? Это только некий показатель человеческих ошибок в данном отрезке времени. И в каждую эпоху, каждую неделю, каждый день и час мы можем усмотреть такой же показатель ошибок частных лиц и правительств. Но война, как и всякий

кризис (с греческого: суд) — экзамен для каждого человека. Во время кризисов вскрывается, обнаруживается истинная природа вещей и ценность, или недостоинство, каждой личности.

Персонажи Солженицына — герои, не замеченные обществом. Они частицы главного персонажа его повестей и романов — русского народа. На вид эти частицы целого как будто ничем не отличаются от своих соседей. Они не принадлежат к тем, которые, как говорят, вершат судьбами страны и человечества. Власть их потаенная, как власть самого добра среди дерзко орущего зла. Они распространители истины и мудрости, сеятели духовных зерен, праведники каждый в своем роде, будь то Матрена или Костоглотов, Воротынцев или Варсонофьев.

В «Августе Четырнадцатого», разрушаются современные мифы, (вернее, старые мифы русских шестидесятых годов прошлого столетия, подхваченные по какому-то недоразумению западной молодежью тех стран, где они не обнаружили еще свою ложь). Солженицын показывает нам святое неравенство людей, неравенство, выступающего в выборе каждого человека, избирающего низшую или высшую свободу, ограниченную деланием земным или неограниченную — в плане духовном.

«Платон Каратаев» Толстого не совсем живой человек, он — самой цельностью своего образа — литературный персонаж, праведники Солженицына никогда не литературные персонажи; как и все люди, даже святые, как апостолы Петр и Павел, они не лишены недостатков и грехов, это тоже признак правды, а затем ее антитеза: остро очерченная трагическая и вековая неправда политической жизни, ее неглубинность. Вне партий, сословий и классов, Солженицын показывает нам человека. Не по его политическим убеждениям судит он, а по его сущности. Есть добрые и светлые люди, есть худые и темные, но человек зависит не от тирана, власти или времени, а от направления своей души. Отказавшись от зависти, злобы, любостяжания, страха, человек становится

свободным и облечен силой, даже если он одинок и обезоружен.

Идеи распыляются в столкновении с действительностью. В сущности, всякий, кто предпринимает какое-то дело, исхода его предвидеть не может, его сво-
Беда, по Солженицыну, в том, что большинство не
если мотивы его чисты и доводят его до подвига. Беда, по Солженицыну, в том, что большинство не проникает в загадку миротворения, ограничивается словами или внешними действиями, не думая о своем собственном совершенствовании. Но только нравственным и духовным усилием открывается дверь к истине. «Познайте истину и она сделает вас свободными».

Солженицын не навязывает читателям своего мировоззрения, об инакомыслящих он пишет мягко, скорее сожалея, что они до чего-то не дошли и поэтому не могут быть бесстрашны. Он предлагает нам *отгадать*, почему «справедливость — недостаточный принцип для построения общества».

«Она не та — которую бы мы измыслили для удобного земного рая». И не важно, что «на главный вопрос и никто никогда не ответит», главное не в формулах, а в понимании тайны, в ощущении ее и жизни в ней.

Заслуга Солженицына в том, что он говорит нам о вечном *новыми* словами.

Мне не совсем понятно, как некоторые читатели не приняли и не поняли вот это новое звучание русского языка, пускай для нас непривычного, но творческого — он тоже признак свободы. Не пушкинским и не советским пишет Солженицын, а тем живым, извечно меняющимся языком, который, не отрываясь от почвы, откидывая засорения советской эры, является доказательством, что жива душа русского народа, трагического, но тянущегося испокон веков к просветлению, то есть к правде и свободе.

«Русская Мысль»
1971 г.

ЗАПИСКИ ИЗ МЕРТВОЙ СТРАНЫ

Из мертвого дома писал Достоевский книгу, которая до сих пор жжет своим черным огнем тех, кто ее читает.

Было в дореволюционной России несколько таких домов. Солженицын же написал не о доме, — о мертвой стране, не о группе людей, — о миллионной толпе живых трупов; исчезающих, пропадающих, растворяющихся в ужасах тюрем и лагерей.

Бывшие золотопогонники, командармы Красной армии, аристократы, мужики, рабочие и ученые, философы и обыватели, верующие и неверующие, русские и нерусские, свои и чужие — все они, породнившиеся равенством чужого произвола, своего бесправия, по-своему несли невообразимое нам бремя от 1917 года и вот до этого — нового!

Страшная повесть временных лет написана до конца оставшимся бесстрашным большим писателем земли русской, от книг которого бледнеют все остальные свидетельства, какими бы они ни были, потому что над бессмысленностью страданья невинных людей, в его свидетельстве вдруг открывается смысл обличения неправды, царящей в мире. Это вам не «Хождение по мукам» героев Алексея Толстого, тут что-то

иное, уже метафизическое. И голос, говорящий нам теперь, — голос громче грома и чище ключевой воды.

В «Докторе Живаго» Пестернака написано: «Рядом с ним поднялся неизгладимо огромный образ России, на глазах всего мира вдруг запылавший свечёй искупления за все безделье и невзгоды человечества».

От пламени этой свечи запылал огнем правды, огнем любви к ближнему русский человек Александр Солженицын, получивший право на хребте своей славы, в пламени своих страданий призвать малодушных к борьбе со злом.

«Русская Мысль», № 2980
1974 г.

ИЗГНАНИЕ И СВОБОДА

Первое чувство — чувство облегчения. Александр Солженицын спасен. Второе — тяжесть и стыд. Как перед судом истории оправдается страна, изгнавшая благороднейшего своего сына? (Правда, не страна, а режим, стыда уже давно не ведающий). Третье — сочувствие к насильно оторванному от родины человеку, обрекшему себя на жертву этой родине и ее народу, говорящему за обреченных на несвободу ее детей, восстанавливающему в глазах всего мира ее честь.

Как Ахматова и Пастернак, Солженицын стоял за свое право жить и умереть в России. Судьба готовила ему путь Овидия и Данте.

Мы, уже потомственные изгнанники, помним наше детское горе, когда удалялись от нас берега России и шел наш корабль спасения, унося нас в неизвестное и чужое. С каждой волной отрывалось от нас свое, родное, кровью и поколениями сложившееся — земля, народ, язык...

Я знаю, что почувствовал Александр Солженицын, когда с самолета вступил на чужую, пусть гостеприимную, землю, совсем один, оставив позади себя семью и друзей. Вероятно согрело его сердечное

участие чужих, все же тяжела ему должна быть разлука с Россией.

Даже в СССР Солженицын остался свободным человеком, или сделался им, пройдя через испытания, потому что духовная энергия насилию не подвластна. Теперь открывается перед ним другая свобода: распространения своих мыслей, общения с людьми, передвижения.

А Россия? Мы несем ее в себе наследием предков, принадлежностью к ее культуре. Бунин, Ремизов, Зайцев, Марина Цветаева и другие, служили ей и здесь.

А странничество — один из путей русской свободы.

«Русская Мысль», № 2987
1974 г.

ПОСТРОЕНИЕ СОЦИАЛИЗМА НА РАБСКОМ ТРУДЕ

Второй том книги А. Солженицына «Архипелаг ГУЛаг» (части 3-я и 4-я) только что вышел из печати, и вот опять страница за страницей, слово цепляясь за слово и книга за книгу, все явственнее, все громче, все ужаснее раскрываются перед миром острова страдания и смерти.

Список злодеяний начинается с первого года Октябрьской революции: «Архипелаг» родился под выстрелы Авроры — пишет Солженицын, — и ответственность за него лежит на Ленине и на его первых сподвижниках. За Лениным стоит и бородатый кумир Маркс, указавший своим ученикам в «Критике Готской Программы», что единственное средство исправления заключенных — это производительный труд.

Книги Солженицына такой взрывчатой силы, что многие из наших современников, — те, кто боится очевидности, те, что предпочитает ложь правде, откажутся их прочесть и над ними задуматься чтобы оставить себе возможность и впредь проповедывать удобный — или выгодный — для них миф, и, как и несколько месяцев тому назад при появлении первых двух частей Архипелага, спасать «светлое имя Ленина», заменяя его Сталиным, этим козлом отпущения,

уже общепринятым компартиями и «прогрессистами».

Имена поистине бесчисленных жертв системы, у которой так много еще сторонников, нигде не записаны, и только сотни или тысячи их промелькнут в воспоминаниях выживших, как и микроскопическая часть имен мучителей целой страны.

Писатель, родившийся на том что принято называть зарей революции, а правильнее было бы сказать — тьмы кромешной, взял на себя подвиг воссоздать полвека ужаса, подвиг любви к правде и человеку. И достойны презрения и нашего, и будущих поколений те, кто затушевывает или подтасовывает огненные его слова боли и гнева.

Не повезло России, что не Муссолини, а Ленин, не правая, а левая диктатура в ней укрепилась. Будь иначе, даже и без острова ГУЛаг, встал бы весь просвещенный мир на защиту жертв, может быть даже возмутясь сердцем до интернациональных бригад. И если по Пастернаку все еще горит Россия свечёй за все неправды человечества, то как заметить ее неяркий свет в пылании неоновых реклам общества потребления.

Летописец XX века продолжает водить нас по кругам ада. Голосами живых и мертвых, стариков, взрослых, женщин, подростков и детей призывает он нас хоть состраданием и возмущением соучаствовать в их муках. Те из «туземцев» Архипелага, которые знали о прошлом, завидуют даже участи крепостных и каторжников «Мертвого Дома».

И часто не под силу читать нам об отверженных, участи которых мы так чудесно избежали. Через неповторимый стиль А. Солженицына, где новое слово звучит по-старому, а старое становится новым — проступает с жуткой яркостью метафизика зла.

«Русская Мысль», № 3003
1974 г.

ПОДВИГ И ИГРА

Такая уж у меня привилегия. Книги Солженицына попадают в мои руки до выхода их в продажу, что дает мне право первого отклика на каждую из них, отклика «на живую нитку», по свежим следам восприятия. Так случилось и с новой » «Бодался теленок с дубом», с явно ироническим подзаголовком: «Очерки литературной жизни».

Бледны и банальны литературные интрижки и ссоры нашей братии в странах, где цензура неведома, всякие там улыбочки критикам, заботы о гонорарах, борьба с соперниками, угождение читателям... В СССР честный писатель — боец на поле битвы, — вместо лавров мерещатся ему тернии.

«Бодался теленок с дубом» книга совсем другого жанра, чем «Архипелаг», а общее у них, и самое ощутимое, — это вихрь духовной энергии, носящийся по всем страницам, затем словесная, но не нарочитая, а природная изобретательность и какой-то жизнерадостный темп. Но «Архипелаг» читаешь с камнем на сердце. «Теленка», несмотря на драматичность положений, как увлекательный, приключенческий роман, и часто улыбаешься, забыв, ч т о покрываешь этой улыбкой.

Великий стратег Александр Исаевич (он и сам это знает), и не на маневры он нас приглашает, а на смертельную битву между правдой и кривдой. С кутузовской хитрецой и багратионовской храбростью распределяет он свое войско, завлекает противника в опасные для него пространства, лавиной бросает на него конницу, в заснеженных окопах Рождества на Истье камуфлирует свои боеприпасы, лазутчиком проникает в Москву, во вражеский стан, сапером взрывает мосты и строит другие, всегда храня «глупую веру в победу». А в неудачах своих стратег умеет распознавать Божий Перст, ведущий ко спасенью.

Как тонко, как отчетливо видим мы персонажи, играющие — одни активно, другие пассивно — роль в этой битве: Демичева, Федина, Твардовского, всю редакцию «Нового Мира», А. Сахарова, К. и Л. Чуковских, фронт и тыл, — и через них, — все поле русской литературы, по которому стелятся отравленные газы насилия. Это картинная галерея мертвых и живых душ — больших и малых дел.

С юности не поддающаяся культу личности, не боюсь тут сказать: коммунизм бросил вызов России и она ответила ему Солженицыным.

«Русская Мысль», № 3040
1975 г.

СКУЧНОВАТО НАМ...

По географическим названиям стран и городов следим мы земной или надземный путь Александра Солженицына по судьбоносно открывшемуся ему миру..

В Канаде — среди природы, похожей на русскую, на Аляске — когда-то русской земле, где подвизался первый православный святой преподобный Герман Алясский, в Калифорнии — где открылись перед ним собранные в Гуверовском Институте архивы «Россия в войне и мире», Солженицын открывает общество, в котором свобода иногда так велика, что человек, ничем и никем не сдерживаемый, блуждает в ней как слепой, ее не ценя, ее не защищая.

На чужих дорогах, на чужом континенте сопровождают Солженицына голоса и видения его родины. Бесстрашный летописец страданий России, он стал и бесстрашным разрушителем иллюзий Запада и этим верным ее защитником.

Горько было ему признаться, что широко открылись русскому писателю иностранные исторические хранилища, недоступные ему в его собственный стране, горько, помня о соотечественниках, принуждаемых жить во страхе и во лжи.

Я уверена, что эта заатлантическая поездка была Александру Исаеевичу все же радостна и полезна. Мы рады, что он ее осуществил, но и скучно нам тут без него.

Не себе он служит, а нам — напряженность его работы не позволяет ему с нами встречаться. Но все же, то в церкви, то в редакции, то в лагере молодежи, то в издательствах, то на кладбищах русского рассеяния промелькнет лицо Солженицына. И мы, «русские европейцы», чувствовали, что живет он со своей семьей где-то рядом.

Пусть он и боднет нас — то по заслугам, то напрасно, по страстности своей единоустремленности, — но зла не затаит, зная общую к нему любовь и доверие. Мш помним наш русский праздник: на французском экране телевидения лицо Солженицына, освобожденного от стесненности первых месяцев. Исчезли необщительность и недоверчивость — и десять миллионов французов увидели благодушие русской улыбки, мягкость взгляда, услышали ироническую искренность слов.

Доброго путешествия, Алекснадр Исаевич, и доброго возвращения.

«Русская Мысль», № 3059
1975 г.

ПИРАМИДА ЖАЛОСТИ И ГНЕВА

За честь считаю, что мне первой дано отмечать в нашей газете каждую новую книгу Солженицына, но не без смущения делаю это. Как охватить за недельный срок, между выходом книги и появлением «Р. М.», тот страшный и грозный мир, который она нам открывает.

Во славу свою воздвигали фараоны пирамиды — чужими руками, — и камень за камнем поднимались они над песками. Солженицын — один. Слово за словом, книга за книгой, воздвигает он памятник народному страданию и человеческой непреклонной воле к свободе.

В трех последних частях Архипелага вводится новый элемент: пробуждение сознания послевоенных каторжников, а как следствие — мятеж и гнев, убивающий страх.

По размерам своим, по долголетию своему, «Архипелаг ГУЛаг» — нечто никогда еще не имевшее места в русской истории, как и никогда еще не бывалый в ней переход целой армии на сторону врага. Читая об ужасах побегов, (тут уже и не риск, а решение: лучше смерть чем неволя) холодеет сердце, не только от сознания такого выбора, но еще и от жестокосер-

дия и вероломства «свободного», в кавычках, населения. Такого всеобщего озверения никогда не случалось еще в стране, где я родилась. Стоит вспомнить «Записки из Мертвого дома» и сравнить с «Архипелагом ГУЛаг». Во времена Достоевского жалеть несчастных, пусть и отъявленных злодеев, пусть и государственных преступников, и облегчать их нужду было властями не запрещено. За доброту не карали. Жертвовали купцы на острог, подавали каторжникам добрые люди копеечку или калачик, нисколько не таясь и крепко держали мусульманские народности завет предков «Гость неприкосновенен».

А в солженицынское время умирающего беглеца добивают, умирающему от жажды и голода не дают глотка воды, куска хлеба. И это в стране, где когда-то у околиц деревень и на кладбищах беглый мог найти хлеб, молоко, сало.

«Да и куда бежать? К кому бежать? Где тот народ, к которому бежать?» спрашивает зек-Солженицын и ему подобные. И только теперь, читая 3-ю книгу «Архипелага», поняла я почему, вернувшись так необычайно в Москву в 1956 г., почувствовала я себя на родине как на самой чужой чужбине. Как потопом были там смыты вековые устои.

Но и после потопа не окончился род людской, хоть и мало людей спаслось от вод. Несмотря на суровость своего осуждения и свой праведный гнев на убивающих душу и тело — проклята власть которая учит ненависти! — Солженицын отвечает тем, кто спрашивает: «Не всех же прощать!» — «А я — и не всех. Я только — павших»... От павшего: «Отведите Ваши камни! Он сам возвращается в человечество! Не лишите его этого божественного пути»...

Пусть и угнетенные, и угнетатели выйдут из того, что Солженицын определяет как «дрессированность нашей воли» и вспомнят, что нет «греха не прощенного, кроме греха нераскаянного».

«Русская Мысль», № 3092
1976 г.

ЗАТВОР СОЛЖЕНИЦЫНА

Мы в Европе все не можем утешиться, что географически мы отдалены от Солженицына. Не часто приходилось нам и тут с ним встречаться, но мы знали, что вот он где-то рядом, наш русский громовержец, любовь которого к народу и к народам выражается и в грозном обличеньи.

Удивительно все-таки, что суровость Александра Солженицына, его отказ от компромиссов снискали ему не только уважение, но и любовь людей совсем простых, даже далеких от русского мира, от международных проблем. На днях, как нарочно, в случайном разговоре с двумя парижанами, «людьми улицы», как тут говорят, с рабочим в бистро, с шофером такси, я услышала почти в тех же словах: «А что делает ваш Солженицын? Вот э т о человек». Так навсегда запомнили они, может быть не так «ГУЛаг», как слова и лицо Солженицына на экране французского телевидения. Стосковались люди, живущие в мирке всяких комбинаций и реклам, по необычности представшего пред ними месяцы тому назад человека. Для харизма недостаточно красноречия, таланта и ума — надо еще иметь духовный жар, направленный на добро, т. е. в сущности — дар Духа Святого.

Добровольное заключение, в которое вверг сам себя и свою семью в США Солженицын, опечалило многих и уязвило чувство добрососедства расположенных к нему американцев маленького городка штата Вермонт (перед которыми Солженицын не замедлил извиниться). Думаю все же, что такое самоотчуждение не есть «отмежевание своего земельного удела», а некий вид аскезы, нужной, чтобы созревало в писателе его творчество. Убегает Солженицын — как и нам следовало бы убегать — от ненужной суматохи, пошлого суесловия и низкой политической суеты. Когда обстоятельства сего требуют — снова мелькает в печати имя Солженицына.

Другой бы, на месте нашего «Исаевича», сказал себе: «Я и так многое сделал, пробудил сознание одних, совесть других, кого надо — обличил, кого надо — утешил. Начертал на камне истории страдания угнетенных и жестокость и глупость угнетателей. Как добрый работник, закончивший свою работу, могу теперь я отдохнуть».

Но я уверена, что в своем затворе Солженицын уделяет отдыху не много времени; ему поручено соединить — силой разорванные — нити прошлого и настоящего своего народа и тем подготовить ему более светлое будущее, и предостеречь другие народы о чуме, им угрожающей... Когда отзвучат шумы современности — все еще будет звучать глас Солженицына.

«Русская Мысль», № 3142
1977 г.



Полемика

ПО ПОВОДУ ДВУХ ПИСЕМ

В какой бы мягкой форме разногласия между двумя такими людьми, как Солженицын и Сахаров, публично ни высказывались — самый факт этих разногласий несомненно смущает многих. Я лично не смущена — между людьми чести и доброй воли споры имеют и положительный результат, и высказывания полезны уже и тем, что дают пищу не только для дискуссий, но и для размышлений.

В сущности, ни Солженицын, ни Сахаров не политики, а **моралисты.** Читала же я их тоже не как политик, а как историк (с оглядкой на прошлое, особенно недавнее, да и настоящее), потому что современность — это отрезок истории, и мы являемся его прямыми свидетелями и очевидцами.

Ответ Сахарова только что дошел до меня, а «Письмо вождям» Солженицына, уже при первой проглядке его, удивило меня тем, что я нашла в нем совпадения с некоторыми позициями покойного С. Малевского-Малевича, выраженными в его книге «СССР сегодня и завтра». Прежде всего то, что и книга Малевского, и письмо Солженицына обращены к правящей верхушке СССР, имеющей возможность **эволюционно** вывести страну из тяжелого положения.

Затем, свободная, никак не насильственная федерация народностей, находящихся на территории СССР и наконец, предположение, что после невероятного зажима теперешней власти демократическое управление на манер западных республик, или королевств, не может справиться со всеми задачами, — люди пришедшие с разных полюсов, один мало знакомый с Западом, другой всю жизнь с юности в нем живший, как-то и где-то встретились.

Расхождения Солженицына и Сахарова обозначились очень ярко в отношении каждого из них к Западу. Не удивительно, что и тот и другой знают о Западе не много. Сахарову он представляется видимо вершиной мудрого управления и высокой государственной и общественной морали, Солженицын скорее инстинктивно, чем из опыта, понял его — Запада — слабости и в частности духовную его слепоту. Сахаров человек науки, Солженицын — человек творческого прозрения. Уважая, повидимому, своих ученых западных собратий, Сахаров принимает, как нечто непогрешимое, и политические взгляды западных ученых, чаще всего радикальные, хотя по существу своему Сахаров — человек, видимо, одухотворенный. Солженицын ставит краеугольным камнем личной, общественной, да и государственной жизни, «примат духовного над материальным», и, как и подобает провидцу и пророку (их за это обычно побивают каменьями), очень чувствителен к порокам людей и обществ и их обличает.

Он не благодушен, но всякое благодушие (посмотрите вокруг себя) очень быстро становится равнодушием — т. е. бездействием.

Собственно говоря, в этом споре на первый взгляд происходит как будто продолжение споров западников и славянофилов.

«Славянофил» — стало как-то очень неосмотрительно бранным словом, но если посмотреть посерьезнее — никак не были славянофилы врагами просвещения или врагами Запада. О Западе они знали гораздо больше чем западники, как Белинский или

Чернышевский (за исключением Чаадаева и Печорина). К тому же и те, и другие верили в мессианскую роль России (Белинский, впрочем, считал Германию «Иерусалимом нового мира»). Хомяков призывал русских с любовью обнять все народы и научить их тайнам свободы, света и веры, а Достоевский утверждал — «Европа нам второе отечество».

Самобытность же свою русские видели только в культуре, основанной со времен Св. Владимира на духовных началах, как на принципе всякой культуры вообще. Рассматривая исторически жизнь русского народа, замечаешь, что как раз он-то и не имел расовой установки и очень легко — без проблем — смешивался с иноземцами и европейскими, и азиатскими. Правда, боярышня «Арапа Петра Великого» не очень-то радостно шла за Ибрагима, но ведь и то сказать — он был тогда единственный чернокожий в России и его единственность должна была казаться ей опасной. Был, правда, как единственное затруднение в смешанных браках, вопрос вероисповедания. И теперь еще этот вопрос существует для православных, католиков и особенно для евреев и магометан. А так — немцы ли, итальянцы, французы, татары, калмыки, евреи, поляки, литовцы — кто только с русскими не роднился без всякой травмы для их потомства: Нессельроде, немецкий еврей, став православным, без всякого затруднения породнился со знатью и стал временщиком Александра I — (как и барон Шафиров) — и не о чистоте своей расы говорят русские, а только о своем присущем и дорогом им, духовном и культурном наследии. Вероятно и Сахарову наследие это не менее дорого, чем мне, без проблемы делящейся между двумя противоречивыми культурами, французской и русской.

Несомненно, постулаты Сахарова гораздо легче будут приемлемы на Западе и главным образом, — увы, — из-за недружелюбия Запада к России, как таковой, чемпионом и рыцарем которой выступает Солженицын. Трудно это дело! Почитайте западные газеты. Спутник, лунник, — это все достижения СССР, но не

советские, а **русские** войска входят в Прагу. На демонстрациях «порабощенных народов» русский народ никогда не бывает представлен. Маленький пример личного опыта: в Париж приехал один ленинградский артист и попросил меня устроить ему выступление по телевидению. Я при нем позвонила знакомому журналисту ОРТФ. «Только что приехал советский артист!» мой посетитель меня прервал: «не советский а русский». Я настаиваю: «советский». День передачи был сейчас же назначен, и я объяснила гостю: — «сказала бы я, что вы русский, вами бы не заинтересовались».

Выходит как-то так, что все имеют право любить свою страну и свой народ, кроме русских: и израильтяне, и арабы, и англичане, и французы, и шотландцы, и баски, и латыши, но вот русские, чаще всего утверждающие не расовое свое происхождение, а принадлежность к не такой уж второстепенной культуре, сразу называются **шовинистами.**

Мудрено ли, что при такой предвзятости, русский народ начинает более отчетливо чувствовать свою особенность и у него развивается комплекс национальных меньшинств: та обидчивость которая раньше не существовала. К тому же в наше время очень легко видеть, что если когда-то боялись большинств, то теперь боятся меньшинств и оказывается, что они одни могут рассчитывать на поддержку общественного мнения.

Я совершенно не оспариваю, что русский народ за тысячу лет своего существования сделал много несправедливого или жестокого, но история всякого народа полна злодеяний. Сахаров как бы недоволен, что Солженицын напоминает о страданиях русских, но ведь и правда — об их страданиях как-то удивительно мало помнят на Западе, да и на Востоке...

И я лично не без грусти прочла у Сахарова трафаретную фразу: — «Существующий в России веками рабский, холопский дух».

Иногда как участница, иногда как свидетельница войн и революций, оккупаций и немецких, и союзных

в разных странах, могу сказать, что сопротивление — дело всюду личностей, а не толпы, и я не знаю другой страны, кроме России, где после 50 лет насилия и террора выявилось бы так много мужественных людей, включая авторов этих двух писем.

Имеющий теперь доступ ко всей нужной ему информации о старой России и о Западе сегодняшнего дня, и слишком хорошо уже знающий советский мир, Солженицын очень скоро сделает правильный синтез новых своих знаний с прежним опытом. Сахарову же придется еще догадываться, идти наощупь, принимать многое на веру. Самое же главное для всех нас это научиться разговаривать уважая друг друга, спорить так, как будто бы ударяя кремень о кремень — мы добываем нужный нам огонь, — и стучаться и в земную, и в небесную двери, пока они, поочереди, не откроются.

«Русская Мысль», № 2998
1974 г.

ПО СВОЕМУ ОПЫТУ...

Спор между Игорем Шафаревичем и Юлием Даниэлем меня, как и многих других, взволновал и обеспокоил. Не так из-за разногласия, — оно нормально, и оно один из признаков свободы, — как потому, что ощутительна в нем эмоциональность, опасная для плодотворной полемики. Таков уж русский человек, у него и сердце, и ум — горячи, и трудно ему найти благотворное равновесие между горячим сердцем и холодным умом.

Спор этот затрагивает косвенно и мое поколение «детей первых эмигрантов». Может быть и нет свободного выбора у детей, вывезенных родителями, беру все же на себя ответственность: в 12 лет я просила мою мать, не желавшую эвакуироваться из Новороссийска в январе 1920 года, увезти нас из России. От чего увезти? Да от того, что уже повидала — и заключенье матери в тюрьму, и переход на нелегальное существование отца, и расстрел близких родных, увезти от голода и эпидемий, от вшивых городов, переходящих из рук в руки, от «зеленых» и других разбойничьих банд. Правда, не КГБ хозяйничал тогда в стране, а Чека, но лучше от этого в ней не было.

С тоской покидая Россию, несмотря на крепкую

надежду в нее скоро вернуться, мы не называли ее ни сукой, ни чушкой, не желали ее уничтожения, в русских видели не только господ и рабов, хотя судьба наша была куда труднее, чем Пушкина и Лермонтова.

Высокомерное презрение Анны Ахматовой к первой эмиграции было неправедно и несправедливо. Совсем не «утешный» голос звал сотни тысяч людей на нищету у чужих берегов. Об этом очень хорошо, с большим тактом, сказал Георгий Адамович на вечере, посвященном памяти этого большого поэта.

И Анне Ахматовой, и Пастернаку, и даже Мандельштаму, пришлось восхвалять тирана, да и многим другим оставшимся — «поцеловать у злодея ручку», защищая близких или боясь за себя. Но ни один человек в эмиграции не осудил ни этих поэтов, ни Булгакова за его «Бег», ни обывателей за малодушие. Как могли свободные судить несвободных?

Но, как сказал Солженицын, есть в русской истории провал от 1914 до 1955 года. И кое-что сделано именно первой эмиграцией, чтобы его хоть чуточку заполнить. Все же годами раздавался свободный голос России на Западе, пусть к нему и не прислушивались, он говорил, он предупреждал, как теперь говорят и предупреждают новые голоса.

Не было бы эмиграции, — не было бы ни Бунина, ни Цветаевой, ни Франка, ни Бердяева, ни Лосского, ни Карсавина, ни Трубецкого, ни П. Савицкого, ни Б. Зайцева, ни Шмелева, ни Георгия Адамовича, ни Георгия Иванова, ни Ходасевича, Стравинского, Рахманинова, П. Сорокина, И. Сикорского, Северского, Юркевича, Шаляпина, Лифаря, Николая де Сталь, Ларионова, Н. Гончаровой, А. Бенуа... Не было бы написанных белыми генералами книг о гражданской войне, ни книг политических деятелей о событиях, ей предшествующих, а главное — для меня — не было бы западного православия, этой ветви русского православного подвига вне России, и новоприезжие, будь то второй или третьей эмиграции, попав на Запад, увидели бы tabula rasa — русское небытие.

Неправа была Анна Ахматова и впоследствии,

укорив нас за то, что мы укрылись под «защиту чужих крыл». Многие из нас не только годами сидели в горящих городах, но и защищали эти города и их население. Да впрочем, и весь Советский Союз был, если не под защитой чужих крыл, то под защитой чужих военных снабжений и гибнущих на транспортных судах иностранных моряков. Но и тут те, кто не эвакуировались из горящих городов, не упрекнули ленинградку за то, что она свой осажденный город покинула...

Всякий важный вопрос — вопрос совести и сил духовных каждого человека. Дезертир знает, что он дезертир, тот, кто борется, знает, что он не дезертир и обида проходит мимо, как нечто несущественное. Да если кто и уходит в быт и заботится только о своем благоустройстве — это дело его, а не наше: «Сильные должны сносить немощи слабых». Никакой человек не имеет права требовать героизма от другого. Даже Церковь не требует от нас подвига мучничества, хотя и стоит она на крови святых и на Крестной смерти Спасителя. Кто вмещает, тот и вместит. Да и мученичество, и героизм одной меркой не измеряются — есть герои и тихие, служащие правде в тени. И в России они есть, и здесь.

Признаюсь все же, с особенным уважением, я, эмигрантка, думаю о тех, кто в темницах, и в лагерях, и в психбольницах, и кто еще не там, но находясь под непрестанной угрозой потери даже ограниченной свободы, продолжает свое дело там, где опаснее.

«Русская Мысль», № 3038
1975 г.

ВОСКРЕШАЯ ПРОШЛОЕ, НАДЕЯСЬ НА БУДУЩЕЕ

Полвека тому назад, в кофейнях Монпарнаса, бесприютные молодые русские писатели и поэты стояли перед теми же вопросами, на которые отвечает в своих «Письмах русского путешественника» прибывший на берега Сены в 1975 г. писатель Владимир Марамзин *).

Зарубежная Россия 20-х годов была велика, почти великодержавна, по численности своей вообще и по количеству в ней выдающихся писателей, философов, богословов, ученых, артистов, людей всех видов творчества. По воле исторических обстоятельств, несмотря на все это, политическое ее влияние на правительства стран, поневоле ее приютивших, было не велико. Она вошла в чужую орбиту, обогащая ее разве только искусством и наукой.

Конечно, никто из монпарнасских сидельцев не относился к Западу свысока. Такое и в голову не приходило. Не потому, что мы стеснялись быть русскими, но потому, что Франция, Италия, Германия, Англия, весь Запад, даже тем, кто в него не мог или не захотел включиться, казался заповедником, хранилищем несомненных ценностей. И не пристало нам

*) См. «Р. М.» № 3093.

перед ним кичиться, только что пережив на родине — кто стариком, кто юношей, кто ребенком — человеческими руками созданный хаос. Террор залил нашу страну кровью, замучил голодом, заполнил заложниками тюрьмы, убивая одних за исповедание веры, других за социальное происхождение, третьих за хозяйственность, четвертых за верность России...

Смотреть на чужое благополучие было, может быть, и обидно, но если и ругали те первые эмигранты Запад, то романтически — за уважение к деньгам, за бережливость, за пристрастие к земному благополучию, — за тот самый материализм, который, может быть, и привел Европу сегодня к моральному кризису и который, что там ни говори, развился и в Советском Союзе, научив людей «изловчаться». Тут от благосостояния, там от полувековой недохватки.

Не только, как пишет Марамзин, «как будто в Россию» приехали эмигранты последнего призыва; попав в Париж, они приехали и в чужой им, не русский мир, и жалко будет, если они закроют на него глаза. Многие из «первых» довольствовались принадлежностью к выжившей на чужбине России, но были и другие, более любопытные. Без стыда признаюсь, что я принадлежала к этой последней группе. Как землепроходец шла по чужим странам то высокой цивилизации, то примитивности, с одного континента на другой, удивляясь многогранности мира. Винить в этом, вероятно, следует мою прирожденную прожорливость на новое, мой умственный империализм, желающий «примыслить» себе чужое, обогатиться, что ли, за его счет, с восторгом аннексируя это «чужое».

Куда бы я ни попала — первое дело для меня было, хоть плохо, но заговорить на чужом языке, познакомиться с обычаями и с характером народа. И никогда не было у меня страха, что я потеряю свою русскость. Нельзя потерять самого себя.

Гоголь напоминал, что совсем не необходимо описывать сарафан, чтобы быть русским писателем, и, право, Пушкин, хотя он «в Испании испанец, с

греком — грек, на Кавказе — вольный горец» — во всех своих перевоплощениях оставался русским.

А в наше «оригинальное время» выяснилось, что даже тот, кто пишет на чужом языке, совсем не обязательно теряет свою русскость, как утверждал это четыре года назад один русский американец, назвавший писателей, которые пишут на двух языках, чудовищами. Легко было догадаться, в кого он в первую очередь метил, и хотя Набоков не является единственным в этом роде, но можно именно на его примере увидеть, что не так-то легко стираются родовые признаки.

Нужды нет, что Набоков пишет по-новому, что темы его тоже необычны для русской литературы. Происходит ли действие в Германии или США, всюду мы найдем отблески России. В ранних его произведениях или в поздних — почти всегда отражается травма русского писателя эмигранта: дореволюционный рай набоковского детства, русская природа...

Только русский мог написать «Пнина». И даже в «Аде», чуждой русской традиции и раздражающей меня, кроме другого, мешаниной языков — остроумные названия местностей, имена персонажей мог выдумать только русский. Сатирическое изображение Америки в «Лолите» так остро потому, что автор увидел ее **извне,** заметил то, что поражает внимательного постороннего наблюдателя, но чего не замечают природные жители. Россия от Набокова никак «не отвязалась!»

Также узнаем мы в художниках Франции — Ланском, Стале или в музыке Стравинского, Рахманинова и других здесь творивших — те же русские родовые черты.

В конце своего «Письма» Владимир Марамзин говорит, что первая эмиграция сперва приняла третью «настороженно». Это не так. Первая эмиграция (в сущности, уже ее дети и внуки) приняла третью (в сущности, детей и внуков тех, из-за кого она оказалась на свободе, но не совсем дома) не только дружественно, но даже родственно и заинтересовалась

ею, может быть, гораздо больше, чем, пренебрегая «связью времен», «третья» — западными русскими старожилами. Исключений мало — первое, конечно, Солженицын.

Теперь надо всем приложить силы, чтобы в будущем на смену «третьей» из-за продолжения испытаний не пришла четвертая. И надеяться, что «третья» сможет вернуться в Россию обогащенной тем, чему она здесь научилась, отметая то, что на Западе плохо, приобретая то, что здесь хорошо, и прежде всего — уважение к чужому мнению.

«Русская Мысль», № 3099
1976 г.

ДВА «АПОЛЛОНА»

Еще немного, и настанет хаос...
С. Маковский, 1910 г.

С надеждой, но не без опасенья ждали мы появления «Аполлона 77». И вот он перед нами. Приятное удивление после первого взгляда: графическое оформление очень хорошо. В этом, конечно, заслуга главного редактора Михаила Шемякина. Но трудно требовать от художника еще и литературного вкуса. Впечатление, что материал сборника никто не подбирал, и поэтому, наряду с интересным или хотя бы любопытным (кстати, шесть участников «Аполлона» печатались в «Русской Мысли»), в этот скорее художественный каталог, чем альманах, втесалось никуда не годное, порой даже такое, что Ходасевич называл «ниже нуля». Чего, например, стоит статья В. Петрова «В порядке информации», — а оказывается, она редакционная.

Поскольку мы предоставляем одному из новых эмигрантов высказаться о новом «Аполлоне», я не буду подробно разбирать тексты. Вот разве все же позволю себе посмеяться над этой «редакционной» статьей. Она безграмотна и некультурна, а поэтому и комична по своей отсталости и провинциализму. Вос-

клицательные знаки, слова с заглавных букв, гиперболы... Чего стоит **«океаническая глубина»** одного из сотрудников, утверждающего, что по прозе другого «потомки будут изучать язык и нравы эпохи» (мне думается, скорее по Солженицыну). Кто-то «излучает мудрость и доброту», другой — «ювелир карандаша», поэма не просто поэма, а «хорал».

Тут же эпитеты менее величественные, как «сатрапы» и «палачи». Чтобы показать все же свою образованщину, г. Петров (в другой статье) видит Шемякина «подобным Брейгелю», в нем же живут и «ндийские тантры», и «чудеса Египта», и «африканские маски», и В. Кандинский, и Вермер «Дельфский» (читатель может и не знать, что Вермер не парижанин). А разве не довольно художнику быть только самим собой, и Шемякину походить на Шемякина?

А что означает «культовый характер»? Корни сего прилагательного — в культе или культуре? Боюсь, что читая такое, потомки подумают, что и за границей гг. Петровы помогли растоптать «дивную самобытную культуру», и предлагаю купившим «Аполлон 77» рассматривать редакционную статью как пародию.

Вообще же трудно удивить потомков первой эмиграции тем, что кажется новым и смелым в СССР. Например, употребление — « pour épater les bourgeois », чтобы «бросить вызов буржуям», — слов, обычно в печати не употребляемых. 45 лет тому назад Луи-Фердинан Селин в романе «Путешествие на край ночи» употребил их с необыкновенной силой и умением. Он выражал этим свой протест «против класса, находящегося между мещанством и пролетариатом» (Пьер де Буадеффр). «Мы подыхаем без легенд, без величия, без мистерий», — вопил прозорливый и талантливый писатель перед войной 1939 г. Но после Селина злоупотребление нецензурными словами стало обычной мелкобуржуазной модой, и удивить ею никого тут нельзя.

Я предлагаю читателям вспомнить о первом «Аполлоне». Из аполлонцев Серебряного века я довольно хорошо знала вдохновителя, редактора и изда-

теля этого журнала, Сергея Маковского. В нем и самом было нечто аполлоническое. До старости сохранил он благородство черт и осанки, вежливость в обращении и эрудицию, выражавшуюся просто и ясно, без всякого самоупоенья. Знать русскую и иностранные, современные и древние культуры казалось ему совершенно нормальным. Человек очень русский и любивший Россию, он был у себя дома и в Западной Европе.

Вот что он пишет о своем поколении: «Чуть космополитическое по своему образованью, но с сентиментальной оглядкой на помещичье, барское житье, оно потянулось «от доморощенного безвкусия» к живым водам Запада» (разрядка моя. — З. Ш.). Во Франции, самобытно развиваясь, берет свое начало как русское декадентство, так и русский символизм. Маковский пишет: «В символизм русские внесли мистику» (см. «Искусство и теургия» С. Булгакова).

Как вески и вдохновительны имена первых аполлоновцев — Волошин, Гумилев, Мандельштам, Ахматова, Г. Иванов, Лозинский, гр. Василий Комаров, Кузмин и, как пишет Маковский, создавший «Аполлон», когда ему было 32 года, «два примкнувших дионисийца, Мережковский и Анненский», — однако в ту пору никто из них не сравнивал своих друзей, а тем паче себя, с Шекспиром и Данте.

«Русское поэтическое поколение девятисотых годов, — пишет Маковский, — не водружало знамени скепсиса и безбожия, напротив, богоискательство преобладало, но это поколение было воспитано на европейских образцах «прекрасной формы» (косвенно через Общество ревнителей художественного слова)».

В 1910 г. появилась в «Аполлоне» статья Михаила Кузмина — совершенно незаконно включенного в «Аполлон 77» — статья о «Прекрасной ясности».

Вот что он писал: «Оглядываясь, видим, что периоды творчества, стремящегося к ясности, неколебимо стоят, словно маяки... Есть художники, несущие миру хаос, недоумевающий ужас и расщепленность

своего духа, и есть другие, дающие миру свою стройность. Нет особенной надобности говорить, насколько вторые, при равенстве таланта, выше и целительнее первых...».

Да и Осип Мандельштам, восстав против «речевых неясностей символизма», написал статью «О кларизме».

Заумь, так бодро представленная в «Аполлоне 77», была изгнана из того, подлинного «Аполлона». Там в 1913 г. были напечатаны статьи Маковского «Новое искусство» и «Четвертое измерение», по поводу сборника «Союза молодежи», с эпиграфом из Ларинова:

«Пришел долгожданный хам и удивился... И занес он одну ногу в будущее, но сделал шаг назад».

«Все труднее, — писал Маковский, — говорить о наших кубистах, футуристах, лучистах, орфистах и прочих «истах» передовой живописи серьезным тоном. Не потому, что юные жрецы «крайних» художественных течений — несерьезны (предоставляем эстетам из «Нового времени» корить их огульно в шарлатанстве, — мы думаем иначе), а потому, что уж очень они ... малограмотны. Малограмотны не только как живописцы. Это бы еще полбеды: в живописи ее недостатки знания, школы могут до известной степени искупаться талантом, — а кто скажет, что талантливых нет между юными «истами»? Беда горшая в том, что они мнят себя писателями, не обладая для этого никакими данными, и выпускают целыми сериями книги, сборники и брошюры, в которых философствуют об искусстве вообще и о собственной живописи, в частности. Тут малограмотность (и в прямом, и в переносном смысле), можно сказать, вопиет к небу».

Тут же Маковский цитирует Бурлюка: «Музей русских уличных вывесок был бы во сто раз интереснее Эрмитажа».

Сама злободневность текстов, написанных более шестидесяти лет тому назад, показывает, что не так уж оригинальна «новизна» «Аполлона 77». Я лично больше вижу новизны в удивившей меня и обрадовавшей своей талантливостью книге Зиновьева «Зия-

ющие высоты». А вообще лишний раз повторю, что нет старого и нового искусства, — есть искусство, талант, гений — и то, что так незаконно называется. Споры о тенденциях — не по существу, и только время отсеивает шелуху и сохраняет зерно.

И вот в свете того, что мы знаем об «Аполлоне» начала века, и о тех, кто в нем писал и кто временем уже утвержден, надо сказать с грустью и без всякого злорадства, что «Аполлон 77» — антитеза подлинного, и напомнить слова Маковского, сказанные уже в 1962 г.: «Жутко себе представить сейчас, до чего беспощадно расправилась история с намечавшимся в России ренессансом духовной культуры». Увы, «Аполлон 77», показывает никак не «связь времен», а именно то, о чем скорбит Солженицын: трагический разрыв этой связи.

Может быть, не все потеряно. Можно будет еще связать разорванную нить, несмотря на то, что свидетелей русского ренессанса почти не осталось. Зарубежные книгохранилища и архивы открыты для всех, кому в СССР было недоступно общение с прошлым. Русские и иностранные источники знанья во всех отраслях культуры могут напоить всех, кто захочет к ним прибегнуть с похвальной целью «себе присвоить ум чужой», — в сущности, накопление «умов» и знаний — это и есть культура.

Но если вдуматься, разве не предельно трагично то, что не солнечный бог гармонии, под знаком которого создавался петербургский «Аполлон», а человек с ободранной кожей и закляпанным ртом — символ и эмблема «Аполлона» ленинградского...

«Русская Мысль», № 3142
1977 г.

После смерти Набокова

НА МРАМОРЕ РУКИ...

Минуты есть: «не может быть» бормочешь,
«Не может быть, не может быть, что нет
Чего-то за пределом этой ночи»...

Владимир Набоков

Владимир Набоков стоит совсем особо в русской литературе. Ни к какой школе его не причислишь, ни с какой группой единомышленников не свяжешь. Ни к какому писательскому кругу он не принадлежал в своем горделивом одиночестве. Владимир Набоков феномен и самая яркая звезда литературы первой русской эмиграции, в которой было немало звезд. Даже те, кому чужд набоковский мир, не пытаются оспаривать его огромного дарования.

Я была дружна с Набоковым в самые трудные годы его существования, с начала 30-х годов до его отъезда в США (хотя в начале его жизни в Америке материальных трудностей и там было у него немало). В одном из писем ко мне в те времена Набоков пишет: «Мы медленно погибаем от голода, и никому до этого нет дела». Но об этих же годах впоследствии в расцвете своей славы он вспоминает публично с чрезвычайно

характерной для него привычкой к мистификации как о «беспечных годах моей эмигрантской молодости».

Жалею тех, кто не знал Набокова в эпоху его первого цветения. Все в нем привлекало и радовало: природный шарм, искристость ума, даже некоторая шаловливость, мгновенная изобретательность сравнений, — так, глядя в Брюсселе на только что зажженные городские фонари — в середине белый колпак, вокруг него четыре желтых: «четыре пива и одна сода». И еще более удивительная, по сравнению с поздними годами, теплота по отношению к друзьям, деликатность, отсутствие высокомерности при сознании своего таланта. Не только жена и сын были предметом его заботливости, но и мать, которую он боготворил, и младший брат Кирилл, тогда студент в Бельгии.

В последний раз мы виделись незадолго до его отъезда в США (мы оставались в Европе, решив принять участие в войне). Хотя переписка между Англией и Америкой шла почти нормально, связи с Набоковым мы не имели. Снова встретились уже в Париже, на коктейле у Галлимара по случаю выхода французского перевода «Лолиты». К сожалению вот эта, самая последняя наша встреча в Париже была неудачной. Одна из причин, боюсь, не единственная, нашего отчужденья, была, вероятно, моя статья о Набокове в « Revue de Deux Mondes ». Перечитывая ее теперь я знаю, что именно в этой, в сущности, вполне естественно хвалебной статье его уязвило: мое утверждение, что творчество Набокова — это итог, вершина пик эмигрантского творчества, эмигрантской безрадостной свободы и ни к чему непривязанности. Думаю это и сейчас.

Владимир Набоков совсем не космополит, примысливший себе чужие берега и нашедший себе на них место. Если и стала для него родина мифом, миражом, плодом воображения, а мир — пустыней, населенной аллегорическими персонажами, марионетками, гротесками, то все это не что иное, как декорация, скрывающая действительность.

Родина для Набокова как раз не миф, а единствен-

ная реальность. Даже в его американских книгах мы найдем присутствие взрастившей Набокова России, страны потерянной, но не забытой. Отчаяние потери — или потерь, — потому что детство и юность Набокова так же невозвратимо потеряны, как и мертвые, которых он любил, и которые составляли райский мир, революцией сметенный.

«Будем прежде всего сочинителями», — писал мне Набоков, но и сочинитель не из пустоты созидает, а из осязаемого, видимого, слышанного, воспринятого. Проза поддается насилию над ней, она поддается даже лжи. Мы можем перекраивать положения, заметать следы, выдумывать чувства, создавать героя-арлекина из разных людей, нами встреченных. Прозой говорят народам демагоги. Но вот поэзия, рождающаяся из подсознанья, по своей иррациональной сущности лукавить и лгать не может. Какие бы герметические формы она ни принимала, основа ее всегда правда. Лучшие русские поэты, принужденные писать хвалу Сталину, выдавали свое принужденье плохим качеством стихов.

И вот в стихах своих Набоков ничем не защищен, он обезоружен и обнажен в них гораздо больше, чем в полузакамуфлированных признаниях, рассыпанных в его романах и в художественных биографиях. В поэзии сущность набоковой трагедии, его травма выступают отчетливо. Конечно, и в романах можно видеть, что участь эмигранта наложила на писателя тяжкий груз. Все искрящееся, живое, подлинное идет из детства, из России, все тяжелое, бессмысленное после расставания с ней. Перейдя на английский язык, Набоков Россию потерял вторично, и потому американское его творчество вдвойне трагично. Слава ошиблась континентами.

Выйдя из мира пародии и бессмыслицы, из надменности мастера, стихи выявляют нам другой, более душевно нам близкий, более человеческий облик Набокова. Пусть стихи его менее оригинальны и ярки, чем его проза, там подо льдом теплится огонек нежности и страдания, так старательно запрятанный в

изощренности стиля и построении романов (особенно последних, по времени, конечно). И в тоненьком сборнике стихов 1929-1951 гг. (изд. Рифма, Париж, 1952 г.) почти в каждом стихотворении найдем подтвеждение тому, о чем я пишу, о дыхании России.

В 1932 г. уже:

мир быть может пуст и беспощаден
я не знаю ничего —
но родиться стоит ради
этого дыханья твоего.

Дыханья музы, но и Мнемозины:

И теперь увеличенный памятью
И прочнее и краще вдвойне
Старый дом, и бессмертное пламя
Керосиновой лампы в окне

и сквозь сумерки возвращается живым убитый отец:

Не изменился ты с тех пор как умер.

В 1938 г. уже окончательно понято Набоковым, что естественный его путь прерван навсегда, тот самый, в «непрерывность» которого он так долго верил. «Молчанье отчизны, молчанье зерна», но, несмотря на все его призывы: «отвяжись, я тебя умоляю!» все всматривается «дорогими слепыми глазами» в изгоя России и он готов себя «искалечить променять на любое нареченье все что есть у меня мой язык». Уже в Америке в 1942 году написано стихотворение «Слава», где наиболее открыто выявлено боренье с мечтой о признаньи на родине.

«Никогда не мелькнет мое имя — иль разве (как в трагических тучах мелькает звезда) в специальном труде, в примечаньи к названью эмигрантского кладбища...»

Не место и не время подобрать все цитаты, но именно потому, что так жива у Набокова память о

доктябрьской России, «советская сусальнейшая Русь» Набокова не соблазнила. Он еще не «сыт разлукой», чтобы примириться со скукой «немого рабства». В 1942 г. Набоков отказывается от своей приверженности к Славе.

так смешна мне пустая мечта
о читателе, теле и славе.

Но в альманахе «Воздушные пути» № 2 1961 г. в стихах, посвященных защите «Лолиты» от нападок, мы читаем:

Но как забавно, что в конце абзаца,
Корректору и веку вопреки,
Тень русской ветки будет колебаться
На мраморе моей руки.

Дар Набокова заслуживает памятника. Русскую литературу он обогатил, но думаю, что останется он писателем для писателей и для литературоведов. В русской традиции «любовь всенародная» идет к учителям и пророкам, к тем, «кто чувства добрые» в них пробуждают. Искусство Набокова другого порядка, другого призвания. Его можно назвать и моралистом, и даже не без метафизических проблесков, но все же главная забота его эсетическая, плетение изощренного словесного кружева, блестящих гирлянд не только над воображаемым, но и над пустотой.

Не ампутированный от России дар Набокова вылился бы в другую форму, может быть и там его судьба не была такой счастливой, как обещала ему его юность, но не было бы в нем трагического раздробления.

Сейчас переходим с порога мирского
В ту область... как хочешь ее назови:
пустыня ли, смерть, отрешенье от слова,
Иль, может быть, проще: молчанье любви.

Набоков заслужил мировую славу, мировое признание и, конечно, надлежало ему получить и Нобелевскую премию, хоть она выдается и заслуженно, и незаслуженно. Все же, успел он дожить и до тайного своего упования. Владимир Набоков таинственным путем вернулся на родину. В России его знают и почитают.

Александр Солженицын, так далеко стоящий от Владимира Набокова по духовным устремлениям, по стилю, по «космополитизму», успел при жизни старшего собрата объявить всенародно, что он считает его гениальным.

И уже «тень русской ветки» колышится над умершим писателем.

«Русская Мысль», № 3160
1977 г.

ВЛАДИМИР НАБОКОВ

«Все это удручало Графа, но еще подлее и ужаснее была мыслъ, что будущего века нет, что человеческая жизнъ лопается так же непоправимо как пузыри».

В. Набоков «Занятой человек».

Как и все, которые могли прочесть в подлинниках все, или почти все произведения Владимира Набокова, я сожалела, что давно заслуженный успех пришел к писателю благодаря скандалу «Лолиты». Вырванная, из-за скабрезности ее сюжета, из всего того что он написал до нее, книга эта, жадно пожираемая широкой публикой, принесла ее автору всемирную славу и деньги, но для многих исказила его подлинный и драматический облик. Множество читателей «Лолиты» и не слыхали о «Защите Лужина», одной из самых замечательных книг, Набоковым написанных, а «Приглашение на Казнь» было (до «Лолиты») предложено разным иностранным издателям и ими отклонено. Кажется и во Франции она вышла уже после «Лолиты».

Литературная удача «бестселлера» была как бы недоразумением, иронию которого нельзя не заметить. А Набоков конечно заслужил и славу и удачу в совсем другом плане. Пожалуй, никто с такой силой как Набоков не выразил, как бы даже помимо себя, внутреннее беспокойство, томление, тоску писателя, выкорчеванного из своей почвы, из своего окружения, и человека, двигающегося в земном пространстве без руля и без ветрил. Сравнительно редко обращаясь к этой теме прямо, и чаще в своих стихах чем в прозе, самой атмосферой своих произведений он вводит читателя в призрачный мир, в какую-то м е р т в у ю свободу, присущую галлюцинациям.

История литературы знает не такие уж редкие — и все учащающиеся в наше время — примеры писателей пишущих на двух языках (я и сама к ним принадлежу), но только один Набоков стал мастером новатором и создателем стиля в двух разных литературах. Более двадцати лет Набоков писал только по-русски. Он достиг на этом языке удивительной речевой пластичности, нашел ритм, у нас еще не использованный, свойственный может быть западной литературе начала 20-го века. Мастером русского слова, вошел он сорокалетним в англосаксонскую литературу, обогатив ее не меньше, чем русскую.

Но и в США он долго — больше шестнадцати лет — был писателем для немногих. Его печатал изощренный «Нью Йоркер», его хвалили такие критики как Эдмун Вильсон, а в Англии Грехам Грин, но книги его выходили малым тиражем — и к сожалению, повторяю, только одна «Лолита» дала ему всемирную известность, принесла ему деньги — когда ему было 60 лет.

Тема — нарочно пишу в единственном числе, веря, что всякий писатель в сущности пишет одну и ту же книгу, которую он никогда не успеет закончить — у Набокова, если проследить, одна и та же, и связана с его личной судьбой. Фабуляции разные, но — хотя Набоков призывал меня «будем прежде всего сочинителями», хотя вот этот сочинительский дар,

дар выдумщика, у него огромен — корни его питаются его биографией и острой наблюдательностью реальности.

Трагедия Набокова в том, что он малолетним Адамом был изгнан из своего земного рая. После этого начинается мир недоразумения, бессмыслицы, трагедия несуществования. Персонажи Набокова — марионетки, дергающиеся на подмостках, пародии людей. Автор к ним в большинстве случаев не привязан, их не любит и, как бы скучая от бездушия своих созданий, Набоков очеловечивает неодушевленные предметы. Шкап у него похож на беременную женщину, разрезной нож вонзается в белое и толстое тело книги, лежит «наповал убитый чулок».

В сущности, биография Набокова не более трагична, чем биография его современников. Но ранние годы были слишком прекрасны. Все было в преизбытке, включая нежное, почти почтительное внимание к нему его родителей. Русская деревня, питавшая творчество почти всех великих русских писателей (кроме Достоевского), была ему родной, имперский Петербург успел поставить на него свою печать. Сияющий этот мир был сметен, разрушен революцией и со множеством других людей, все потерявших, семья Набокова причалила к другим берегам. Только драма в Берлине — случайное убийство отца, заслонившего собою П. Н. Милюкова — отличила в те годы участь Набокова от участи тысяч русских молодых эмигрантов, но в некоторых отношениях она была и легче, чем у них. Он не был травматизирован участием в гражданской войне, ему, благодаря связям и знанию английского языка, посчастливилось с братом кончить Кэмбридж — что и даст ему возможность стать американским писателем.

Но что были Набокову эти скромные привилегии? На испытания каждый отвечает по-своему. Одни склоняются перед неизбежным и сдаются, другие борются и (иногда) побеждают. Есть и такие, которые по духовной силе, их наполняющей, и не замечают угнетенья. Набоков родился писателем и поэтом, т.

е. существом особенно впечатлительным и эгоцентричным. Отметим, что не так во что обратилась Россия его мучило, не то что случилось с русским народом, а то что его Россия стала мифом, а он продолжал существовать. Единственное достояние, у него не отнятое, был русский язык.

И вот это-то достояние стало обесцененным в эмигрантском вакууме...

Но тут надо отметить, во избежание будущих искажений, неопровержимый факт: эмигрантские критики, да и читатели, сразу заметили «явление» Набокова и приветствовали его талант. Была враждебность (м. б. внелитературная) Г. Адамовича и Г. Иванова (Адамович впоследствии в этом раскаялся), но все остальные критики писали о нем очень лестно. И. А. Бунин, мягкосердечием к собратьям не страдавший, сказал мне о Сирине «чудовище, но какой писатель!» и так определил его виртуозность: «Он как акробат, так и ждешь — сорвется или нет». Высоко ставил его и взыскательный Ходасевич, видя в нем художника формы и литературного приема. Глеб Струве признавал его за самого оригинального писателя эмиграции. Петр Бицилли считал, что «Приглашение на Казнь» по значению своему равно «Мертвым Душам», В. Вейдле его хвалил. Все безоговорочно — включая меня, самого младшего из критиков — знали, какое место займет Набоков в русской литературе.

Но признание признанием — у писателя эмигранта нет народа, который бы его «нес». К тому же, при ограниченном числе читателей, не может быть у него материального успеха. В ту пору русская эмиграция была нищей, да и книг, в тесноте квартир, поставить было некуда. Была все же поддержка общественных организаций и также помощь более состоятельных соотечественников, которая распространялась и на Набокова. Несмотря на это, нелегко жилось ему в ущелье эмигрантского гетто...

Трудно сказать, почему иностранные издатели не заинтересовались Набоковым. Переводили его мало, редкие его книги в переводах расходились плохо,

хотя в то время и Кафка, и Джойс, и Вирджиния Вульф пользовались на Западе большим успехом. Может быть смущало иностранных издателей, что ничего специфически русского, ни тени Достоевского, ни призрака Толстого, т. е. для них привычного, в Набокове не было. Запад преломился в его искусстве некоторой нарядностью. Толстой, для большей естественности речи, переделывал пассаж, который казался ему слишком красивым, безупречным. Набоков, наоборот, любил ослеплять словесным блеском и прекрасно знал свои особенности — они не случайны. Кончеев в «Даре» говорит автору книги о Чернышевском, что ему не нравятся в нем его «петербургский стиль, галльская закваска, нео-вольтерьянство». Любил Набоков и провокационные высказыванья: Бальзак — «глыба из гипса», Достоевский — «автор детективных романов». Упрек в детективности будет пущен и в адрес самого Набокова, после «Отчаянья».

В Германии, где он женился, где родился у него сын, Набоков дает уроки шахмат, тенниса и (кажется) бокса. У него громадная трудоспособность. Он мне говорил, что иногда пишет по 15-20 страниц в день. Но с каждой книгой герои его становятся все более абстрактными, они вне эпохи и вне политической современности. Сам же писатель живет в сугубо политическое время. Из Германии семья переезжает в Париж и затем, меняя страны «как фальшивые деньги», при первом раскате грома, в 1939 году, Набоковы в Америке. В Европе ему было так тяжело, что он как-то сразу обрывает связь с нею и даже с друзьями, в ней оставшимися. Таково зарождение американского писателя:

«А случалось еще, ты пописывал
Не без блеска на вовсе чужом языке».

Впрочем, американские книги Набокова мало чем отличаются от его русского творчества. Это сиамские близнецы, двуглавая птица, по-разному кричащая об

одном и том же. И даже виртуозность остается на той же высоте. Книги продолжают быть аллегориями, ребусами, оттеняя ирреальность положений и событий тщательным описанием бытовых подробностей. Уже в «Машеньке», когда Ганин смотрит фильм, где он и его знакомые фигурировали, он видит: «Теперь внутренность того холодного сарая превратилась на экране в уютный театр, рогожа стала бархатом, нищая толпа — театральной публикой». Ганин имеет своего двойника на экране, люди же вокруг — «тени его изгнаннического сна».

Двойники, зеркала, обман, пародии, есть даже (в стихах) «пародия совести»... В мире фальшивом, где всякая вещь, всякий человек может представлять собою другую (есть и фальшивая собака), герои Набокова зачарованы зеркалами. В «Приглашении на Казнь» мы находим игру негативных зеркал, «неток». Они меняют, декомпозируют, стирают реальные формы, но из бесформенности могут создать человеческое подобие.

В этой же книге появляется первый облик Лолиты, Эмочки, «дитя, но с мраморными икрами маленьких танцовщиц», «этот мускулистый ребенок валял Цинцината, как щенка». Эмочка манила узника обещанием свободы, но привела его, как и Лолита, в камеру смертника.

«Лолиту» я восприняла как аллегорию. Эта книга — только одно звено из цепи, созданной Набоковым. Цепь эта — страшный мир, где под сверканьем фантазии, стиля быстрого и сухого как стрекот пулемета, доброта не существует, где все кошмар и обман под блеском иронии и жестокого юмора. Попутно «Лолита» — не беззлобная сатира о быте «средней Америки». Так остро описывает Набоков пошлость слов и пошлость человеческих типов, бессмысленность их действий, что кажется будто весь континент, который пересекают Гумберт и его жертва — она же и его мучитель — Лолита в своем безнадежном беге не что иное, как действующая без всякого смысла механика. Английский текст подчеркивает

еще то, что в русском переводе не может быть замечено. Только иностранец Гумберт изъясняется на чистом «королевском» английской языке, незнакомом американцам.

Аллегория же раскрывается так: Гумберт, т. е. художник, писатель, артист, старается освоить, овладеть какой-то тайной, о которой он догадывается, но которая от него все время ускользает. Изуродованная словами, преданная ими, тайна показывает только уродливое свое отображение

> «Лишась мгновенно волшебства
> бессильно друг за друга прячутся
> отяжелевшие слова...»

Можно сравнить «Лолиту» с повестью Хемингуэя «Старик и море». Лолита не девочка, не женщина, она произведение искусства, которое художник, напрягая все силы, старается вытащить на берег как добычу. Но берега это чудо морское не достигает. На песке только клочья мяса на остове. Оно было истерзано, изуродовано другими рыбами — читателями, критиками, беспомощностью самого автора... Жалкий, унизительный трофей!

> «Слово, извлеченное на воздух, лопается, как лопаются в сетях те шарообразные рыбы, которые дышат и блистают только на темной, сдавленной глубине».
>
> («Приглашение на Казнь»)

И не только слово, но и замысел автора.

Владимир Набоков нередко подчеркивает, что он агностик, иногда даже с некоторой аффектацией. Блок в «Исповеди Язычника» пишет: «Но я русский, а русские всегда ведь думают о церкви; мало кто совершенно равнодушен к ней; одни ее очень ненавидят, а другие любят; те и другие с болью». О церкви

Набоков никогда не упоминает, но иногда, как бы без боли, подчеркивает свое неверие

«Не доверясь соблазнам дороги большой
или снам, освященным веками
остаюсь я безбожником с вольной душой
в этом мире, кишащем богами...»

Правда, поскольку тут боги во множественном числе, имеется и некоторая двусмысленность.

Все же элементы метафизики очень легко найти в творчестве Набокова — сама природа зла метафизична. Мир обмана — мир бесовский, дьявол отец лжи и не мало бесов-соблазнителей мы найдем в набоковских произведениях. Кто такой Валентинов, ведущий к смерти Лужина? Что-то гоголевское в этом голосе, разговаривающем по телефону с женой Лужина: «Я старый друг Вашего мужа... Я жду его ровно в двенадцать. Шепните ему одно: Валентинов тебя ждет... — засмеялся голос... провалился в щелкнувший люк».

Фокусник Шок в «Картофельном Эльфе» — «ходячий обман всех пяти чувств». Палач Пьер, бес пошлости, соблазняет смертника самыми пошлыми радостями жизни, наслажденьями любовными или гастрономическими, и даже вещицами, вроде фотоаппарата или трубки. Всепоглощающая страсть Лужина к шахматам, или Гумберта к Лолите — наваждение, обцессия...

Кроме этого, все же есть и полупризнанья самого Набокова. Он часто намекает о какой-то тайне — «и со мной моя тайна всечасно» — ему открывшейся в «зашифрованной ночи». Что означает мотив ковра, все повторяющийся и в стихах и в прозе: будто жизнь здесь только изнанка, спутанные нити ковра, лицевая сторона которого в другом пространстве, «завернулся краешек этой ужасной жизни и сверкнула на миг его подкладка» («Приглашение на Казнь») и хочется жизнь «богатую узорами»

«так сложить ее дивный ковер
чтоб пришелся узор настоящего
на былое, на прежний узор».

Нет мыслящего, да впрочем нет вообще человека, который бы никогда не думал о смерти. Цинцинат в своей камере, понятно, особенно ею занят. «Всегда часть моих мыслей теснится около невидимой пуповины, соединяющей мир с чем-то — с чем, я еще не скажу». В «Ужасе» читаем: «Так бывало, душа моя задохнется на миг... стараясь изо всех сил побороть страх, осмыслить смерть, понять ее по-житейски, без помощи религий и философий».

Но все это относится к персонажам Набокова. Стихи же — уже открыто личное

«Смерть еще далека (послезавтра я
все продумаю), но иногда
сердцу хочется «автора! автора!»

и признанье

«В зале автора нет, господа».

Как же без автора «и в вечное пройти украдкою насквозь»? Без вечности — часы в коридоре «пустой циферблат». Много страшных и глубоких страниц в «Приглашении на Казнь» и не могли они быть написаны без внутреннего соучастия автора. Смертник Цинцинат читает книгу, он «одолевает страницы с тоской», думая «на что мне это далекое, ложное, мертвое — мне, готовящемуся умереть» и представляя себе автора этой книги, как он «еще молодой, сам будет умирать — и это было как-то смешно»... «...А смешно было потому, что единственным тут настоящим, реально несомненным, была всего лишь смерть — неизбежность физической смерти автора».

Автор «Лужина» и «Машеньки», «Приглашения на Казнь», «Камера Обскура», «Весны в Фиальте», «Ады», «Бледного Огня», «Пнина», «Озера Облака

Башни» и многих других книг и рассказов умер — и это совсем не смешно. Не смешно и то, что в многогранной своей особенности оказался Владимир Набоков единственным из русских писателей, крещеных в православии, отдавшим свое тело не земле, а огню.

Тайна последнего человеческого вздоха и последнего движенья души нам неизвестна, но в рассказе «Музыка» есть такая фраза: «Я тебе все прощу, ведь когда-нибудь мы умрем, и все будем знать, и все будет прощено».

«Вест. Рус. Хрис. Движения», № 122
1977 г.

О французских литераторах

СТОЛЕТИЕ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ ПРУСТА
1871 - 1971

Не одно искусство придает прелесть и таинственность самым обычным вещам, эта власть принадлежит и страданию.

Пруст

10 июля 1871 года в Париже родился Марсель Пруст и сегодня, несмотря на ряд замечательных писателей, его современников, при жизни имевших больше славы чем Пруст, первое имя, которое приходит на ум, когда думаешь о французской литературе первой четверти 20-го века, — всегда имя Пруста. Анатоль Франс, Баррес, Гюисманс, Андре Жид — както отходят на второй план. Ближе стоящий к нашему времени Поль Валери, столетие со дня рождения которого тоже отмечалось в этом году, и тот уступает свое место автору «В поисках утраченного времени».

О нем написаны уже тома. Как Джойс, Пруст, в сущности, писатель для писателей. В него надо вчитаться, его надо перечитывать. Его многотомный роман — во многом литературное отображение Философии Бергсона, его учителя и свойственника, Бергсон — философ длительности времени; Время и Память

в его представлении — два главных элемента жизни. Несколько необычно для французского философа Бергсон отказывался признать примат ума над интуицией — а это некий вызов всей картезианской традиции. Бергсон сегодня полузабыт, но Пруст доносит до новых читателей его голос. Бергсон верил в союз философии и поэзии, этот союз и осуществил Пруст в «Поисках утраченного времени».

Слава Пруста продолжалась при его жизни недолго; началась она с присуждением ему в 1919 году премии Гонкур за книгу — «На стороне Сванна» — в 1922 году он умер.

Признанию его мешали своеобразный и трудный, пока в него не вчитаешься, стиль, и неудержимое пристрастие к великосветским салонам, ставшее поводом для обвинения его в легкомысленности.

Этот второй упрек нередко слышишь и теперь. Под ним подразумевают обычно то, что общество, вдохновившее Пруста, было социологически неинтересно и не заслуживало внимания. Странный упрек!

Всякое общество состоит из отдельных личностей. Всякое общество имеет свои ограничения, будь оно аристократическим, буржуазным, пролетарским или писательским. И в каждом из них, увы, преобладают мертвые души. Но все они интересны для творческой или социальной мысли. Предпочтительно в каждом из них оставаться случайным гостем. Вот этим случайным гостем герцогини де Германт и был писатель.

Что Пруст был «парвеню» в этом по рождению чуждом ему кругу, куда он прорвался ценою больших усилий, и позволило ему бросить свежий взгляд на какую-то особую породу людей. Так путешественник открывает красоты или особенности впервые увиденного пейзажа, мимо которого равнодушно проходят те, кто в нем вырос. Да к тому же неверно, что Пруст описывал одних герцогинь и княгинь. Не менее точно и глубоко им описаны музыканты, писатели, лакеи, демимонденка Лаура Эйман и служанка Франсуаза, и все те, кого называл он «Французы Св. Андрея на

Полях» *), т. е. французский народ, отображенный на фронтонах средневековых соборов.

«В поисках утраченного времени» — дело всей его жизни, — задумано Прустом по образцу «Человеческой комедии» Бальзака. Все, что он написал до этого, было только подготовкой, черновиком этого многотомного романа. «Удовольствия и Дни», «Жан Сантей», интереснейший эссе «Против Сент-Бева», где как раз выступает его восхищение Бальзаком, — все это основы, на которых построено громадное и гениально задуманное здание утраченного и вновь найденного времени.

Авторы, принадлежащие к уже погибшей, за неимением читателей, школе «нового романа», напрасно старались доказать, что Пруст был их прямым предшественником. Прустовская словесная, психологическая и эмоциональная мозаика не беспредметна и не бессюжетна. Герои Пруста существуют, они дышат, живут, страдают, они вплетены в ткань самой жизни. И вот потому-то сразу после войны целый ряд молодых писателей пошли за «несовременным» Прустом — последователи и подражатели, как и все подражатели, — не доходя до его вершин. Появилось множество биографий, исследований, литературоведов и психиатров **).

Некоторые из этих трудов дают чудовищные подробности об интимной жизни Пруста. Лучше их забыть, их не читать, вернуться к созданному Прустом шедевру. Проследить, как то, что началось игрой, вдруг становится чем-то самодовлеющим. Замысел овладевает Прустом, выталкивает из его жизни все остальное, как затем вытолкнет из жизни его самого. Задыхаясь от нервной астмы, наперегонки со смертью, Пруст пишет, чтоб успеть поставить точку. «Мои силы уходят нехотя — для того, чтобы дать мне вре-

---

*) Название церкви, которую Пруст описал.

**) Так, например, Джорж Пейнтер, английский прустист, написал самую обширную литературную биографию нашего времени — после 18 лет посвященных изучению творчества французского писателя.

мя, закончив ограду, закрыть дверь усыпальницы»...

Симфония завершена, время возвращено — для тех, кто будет жить после Пруста.

То, что Пруст написал о смерти Бергота — в этот прустовский посмертный юбилей можно применить и к его смерти.

«Он умер. Умер навсегда? Кто может это утверждать?... Конечно, спиритические опыты, как и религиозные догматы, не приводят доказательств бессмертия души. Но можно сказать, что все происходит в жизни так, как будто мы в нее вошли с грузом обязательств, принятых на себя в прежней жизни. Нет никакого повода, чтобы на этой земле мы считали себя обязанными делать добро, быть деликатными, или даже вежливыми, или для того, чтобы образованный артист считал себя обязанным двадцать раз переделывать отрывок, раз восторг, который он вызовет, ничего не будет значить для его тела, обглоданного червями, так же, как и кусок желтой стены, написанный так значительно и тонко оставшимся навсегда неизвестным художником. Все эти обязательства, которые ничем не санкционируются в теперешней жизни, кажутся принадлежащими другому миру, миру, основанному на добре, на совестливости, на жертве, миру, совершенно отличному от этого, и откуда мы выходим, чтобы родиться на этой земле... И поэтому мысль, что Бергот умер не навсегда — не лишена вероятия.

Его похоронили, но в продолжение всей погребальной ночи, его книги, выставленные три по три, в освещенных витринах, как ангелы с распростертыми крыльями, казались для того, кого больше не было, символом воскресения».

«Русская Мысль», № 2858
1971 г.

В ПОИСКАХ ПРУСТОВСКИХ ПЕРСОНАЖЕЙ

1971 год для Франции — «год Пруста». Место, занятое им в французской литературе, можно определить по количеству манифестаций, отмечающих его юбилей.

Выставка «Пруст и его время», открытие памятной доски на доме, где он родился, в присутствии Селесты Альбаре, — верной его прислуги за последние годы его жизни, и его племянницы г-жи Мант-Пруст; прославление Кабура — нормандского города, где он любил отдыхать; лекции и концерты, даже «бал Пруста»; марка Пруста, организованные паломничества в места, Прустом описанные; фильм о Прусте молодого режиссера Ги Милля — «Пруст, искусство и страдание».

В Институте Франции состоялось торжественное собрание, международное чествование памяти писателя, под покровительством Президента Республики, в присутствии г. Оливье Гишара, министра нац. просвещения.

Оно происходило символически в скромной аудитории Института, где читал лекции Бергсон. Среди ораторов были «Прустисты» Бельгии, США, Англии, Кубы и Японии.

Улицы Иллье — маленького городка — заполнены французскими и иностранными поклонниками Пруста, которые не забывают полакомиться в местных кондитерских и чайных теми самыми печеньями «мадлен», вкус которых однажды вызвал в памяти писателя «как из японских игрушек, раскидывающихся в воде цветами», его молодость, давно исчезнувших людей, весь городок, целый мир...

Наша газета, издающаяся в Париже, в свою очередь отмечает память великого французского писателя XX века.

❦

В 1924 году, когда мне было 17 лет, я впервые услышала имя Пруста. О нем так много писали, так много говорили, что самый чистейший юношеский снобизм заставил меня открыть впервые его книги.

Они показались мне очень скучными и совсем непонятными. К тому же я еще не укоренилась в Западной Европе и жила в русской эмиграции той невероятно трудной, сложной, нереальной жизнью, которая была участью и старшего и молодого поколения 20-х и 30-х годов.

Книги Пруста прочтены мною тогда не были, но при случае я могла, как многие, считающие себя читателями, показать, что он мне не незнаком. Позднее несколько раз принималась за Пруста, читая отрывки, и уже находя в этом пищу, если не для сердца, то для ума. И только во время войны, в Лондоне я прочла подряд все тома «В поисках утраченного времени», находя в этом чтении то особое удовлетворение, когда чтение уносит очень, очень далеко от действительности.

Горящий под бомбами Лондон и французское общество начала века были явно блестящими антитезами.

1947 г., когда мы года на два осели в Париже, мне захотелось повидать тех, кто были прототипами прустовских персонажей. Многие уже умерли, но старый

друг моей семьи, маркиз Луи де Ластейри, член Жокей-клуба, потомок Лафайета и собственник прелестного замка Ла Гранж около Розей-ан-Бри, тоже когда-то принадлежавшего Лафайету, встречался в свое время с Прустом. Он с большой охотой повел меня к своим приятельницам, бывшим молодым красавицам прустовского Парижа.

Жизнь в 1947 году еще не наладилась. В своем особняке на ул. Варенн, на фронтоне которого красуется монограмма герцогов Монморанси, приняли меня в предельно холодной маленькой гостиной, где топилась жалкая печурка, маркиза де Люберсак и ее сестра, приехавшая из провинции, м-ль д'Инездаль.

Обе дамы были женщины умные и живые. М-ль д'Инездаль, как мэр своего округа, отлично защищала своих избирателей во время оккупации; сестра ее была членом «Общества женщин Библиофилов», но как и для Ластейри, Пруст, несмотря на его установившуюся славу, был для сестер не так большим писателем, как все тем же «маленьким Марселем», которому они покровительствовали.

«Красив он не был, — рассказывали мне сестры, — уж очень у него был восточный тип, что-то от арабского продавца ковров. Глаза печальные и очень ласковые. Мы его очень любили. Он так трогательно хотел иметь доступ в салоны, писал всем бесконечно самые почтительные и нежные письма, все выспрашивая всякие подробности о генеалогии людей, которых он встречал, при встречах прося вдруг разрешения пощупать материю нового платья — «как называется этот цвет? Какая модистка сейчас в моде?» Всегда как-то неуверенный в себе, слишком милый, если хотите! За какую-нибудь нужную ему справку отдаривал цветами тоже как-то «слишком» и всегда с самым трогательным письмом *) или запиской, как будто ему спасли жизнь, но несмотря на нашу дружбу, читая его книги, право,надо сказать, что он нас

*) Только 3 000 писем Пруста из 10-ти тысяч, им написанных, были опубликованы.

не понял» (под словом «нас» — подразумевалось светское общество).

На улице Фезандери жила оригинальная Елизавета де Грамон, по независимости характера разошедшаяся со своим мужем, герцогом де Клермон-Тоннер. Я ее встречала довольно часто, так как ее издатель Грассе был и моим. Худенькая, с совершенно белыми волосами, с белоснежным жабо, быстрая в движениях и словах, бравируя уже в 20-х годах модными, не всегда цензурными словами **), автор многих, легко и не всегда хорошо написанных, книг. Елизавета де Грамон «забросившая свой чепчик за мельницу», по французскому выражению, т. е. выйдя из условностей своей среды, все же оставалась светской дамой.

Книги ее, небрежно-живые, дают о ее современниках немало любопытных сведений. «Анфан террибль» самой высшей аристократии, Елизавета де Грамон, дочь герцога и первой жены его, Роан-Краон, подчеркивала свое вольнодумство, не очень серьезное.

Увлекшись Леоном Блюмом, она по женскому, а может быть и по салонному снобизму, увлеклась и Народным Фронтом, и заказала у известнейшего парижского ювелира драгоценную брошку, изображающую серп и молот. Как-то, не условившись, зашла она к Грассе, который был занят. Сообщившей о ее приходе секретарше издатель закричал: «Я не хочу видеть эту емм...», и тут же открылась другая дверь его кабинета, и Елизавета де Грамон, с улыбкой заметила: «Слишком поздно, емм... уже здесь»!

По силе вещей, деклассироваться Елизавета де Грамон никак не могла, и при всей своей живости и нрава, и выражений оставалась той самой княгиней де Лоам, описанной Прустом, которая была первым вариантом Орианы де Германт.

**) Так, одна из прустовских героинь, когда горничная, причесывая ее, уронила гребешек и не успела удержать вырвавшееся у нее слово «м...», заметила: «Ну, нет, милая, — это слово герцогинь...»

В последний раз когда я у нее была, у нее сидела ее приятельница Натали Барней, американка, которой Реми де Гурмон посвятил свои «Письма к Амазонке». Близко стоящие ко всем знаменитостям своей эпохи, Елизавета де Грамон и мисс Барней все-таки больше других светских дам понимали в литературе и искусстве.

Пруст для них был не только «маленький Марсель», но и большой писатель. Впрочем прочла ли Ел. де Грамон все, написанное Прустом — сомнительно; уж очень разбросаны были ее интересы. Пруст мелькал в рассказах Е. де Грамон, выпадая и впадая снова в галерею всех тех, кого она встречала в своей жизни, вперемежку — политиков, писателей, художников, музыкантов — Жозефа Кайо, Мориса Барреса, Валери, Айседору Дункан, д'Аннунцио, Морраса, Анатоля Франса, Колетт, Пьера Льюиса, Монэ, Эдгара Дёга, «раздражительного великого старика», Форена, Родена, Аристида Майоля, Дягилева и Нижинского («Это пахнет аннексией», — заметил Форен на первом представлении в театре Елисейских Полей «Весны Священной»), Бони де Кастильян, Жувенеля, Бертелло и Роберта де Монескью, не считая всех Полиньяков, Мюратов, Роганов, Черчиллей и царствующих лиц. При всей ее нежности к Марселю Прусту, он в ее разговорах играл при мне только эпизодическую роль.

Совсем в другом стиле был младший брат Елизаветы де Грамон, от второй жены ее отца, Арман, носивший при жизни отца, т. е. когда он познакомился с Прустом, титул герцога де Гиша. Мы его повстречали уже в преклонных летах и герцогом де Грамоном. Представительный и красивый, член Академии Наук, специалист по гидростатике и оптике, изобретатель электронических аппаратов, герцог удивительно хорошо умел сочетать серьезные научные занятия и светскую жизнь. Он был женат на Элен Греффюль, дочери красавицы графини Греффюль (прототип прустовской княгини де Германт), портрет которой, кисти Лазло, мы видали в его особняке на

ул. Анри Мартен. Несомненно и сам Гиш (впоследствии Грамон) придал некоторые свои черты аристократам романа Пруста. Елизавета де Грамон пишет о теще своего брата: «Гр. Греффюль — захотела приблизить к себе музыкантов, ученых, физиков, химиков, докторов... Эти люди науки, приглашенные в самое неурочное время, приходили и говорили перед граф. Греффюль о вещах, которые она не могла понять... несмотря на это, собеседники были в восторге друг от друга».

Дочь граф. Греффюль не унаследовала красоты своей матери и всю жизнь чуждалась света, занималась только добрыми делами, одевалась так скромно, что, говорят, однажды в Испанской часовне Пасси кто-то, приняв ее за бедную, подал ей милостыню, которую горцогиня де Грамон приняла, не желая обидеть доброго человека. Уже после ее смерти мы побывали в замке Грамонов, «Ла Вальер», в Мортфонтене. Замок, выстроенный в XIX веке (в поместье, принадлежавшем Жозефу Бонапарту) отцом Армана, после его женитьбы на Ротшильд, огромен, но не чудесен, ибо старый герцог задумал его наподобие замка Азей-ле-Ридо, но приказал архитектору выстроить его в три раза больше размером, что нарушило, конечно, и пропорции, и гармонию.

Молодой герцог де Гиш (Арман) был дружен с Прустом и, несмотря на предубеждение своего отца, пригласил его в Ла Вальер, но Гиш забыл предупредить Пруста, что предполагается катанье на лодках. Все гости были одеты по-деревенски, один Пруст явился в визитке с цветком в петличке и, будучи всегда в себе неуверен, провел вечер, как рассказывал нам герцог, прячась за гардины от смущения. Когда пришло время прощаться, старый герцог, без удовольствия, но согласно традиции, попросил Пруста, бывшего тогда в первый раз в имении, вписать свое имя в золотую книгу: «Только ваше имя, прошу вас, главное никакой мысли! (изречения)», — прибавил он сурово. Мы видали эту подпись Пруста, но к этой странице теперь приклеена фотокопия письма, написанного

Прустом одному другу по поводу его первого визита в Ла Вальер. «Я не понял, почему герцог попросил меня написать только мое имя, но не мысль. У меня нет имени, есть только мысли. Другое дело, если бы герцог был у меня, у него есть только имя и никаких мыслей» (цитирую по памяти). В библиотеке Ла Вальер находились все первые издания Пруста с автографами, но во время немецкой оккупации, многие из них исчезли. Среди квартировавших там немецких офицеров были такие, которые ценили Пруста больше, чем старый герцог де Грамон.

Салоны, которые так восторженно посещал Пруст, исчезли после второй войны, коктейли убили искусство салонного разговора, и общество забыло фразу натуралиста Бюффона: «Толпа — не общество». Правда, еще происходят литературные и ученые собрания у графини Жан де Панж, сестры двух академиков и Нобелевских Лауреатов де Брой и правнучки мадам де Сталь, которая создала «Общество изучения де Сталь», и у герцогини де Ля Рошфуко, но ни тот, ни другой кружок не подошел бы «маленькому Марселю». Мне все-таки посчастливилось бывать с мужем в типично прустовском салоне, который остался до смерти его хозяйки каким-то заповедником, где выжило искусство салона, как места, где в самой элегантной обстановке могут встречаться люди политики, искусства, науки, литературы и большого света в приятном общении даже с инакомыслящими. Графиня Маргарита-Мария де Мен ***), бывшая замужем за коньячным королем Эннеси и разошедшаяся с ним, каждое воскресенье принимала своих гостей на ул. Масперо в Пасси и, как талантливый дирижер, руководила салонным оркестром, зорко глядя, чтобы никто не был обижен, чтобы каждый нашел себе собеседника ему подходящего. Академики и политики,

***) Анри и М. де Мен — дети политического деятеля и академика Альберта де Мен и потомки Гельвециуса, литератора и философа 18-го века, последователя Локка. Жена Гельвециуса основала «Кружок Отейя», где собирались «лучшие умы» того времени.

дипломаты — среди которых были изгнанники, — старые и молодые дамы, в норках или в скромных нарядах, забывали спешку и грубость современья, хотя и говорили о современных проблемах. Гр. де Мен, как и ее брат Анри, знали Пруста и его ценили, впрочем, как и маркиза де Люберсак, не узнавая себя в персонажах им описанных. На стене висел портрет хозяйки дома, того же Лазло, который написал гр. Греффюль, — худенькой, задумчивой — какой знавал ее Пруст.

Может быть и присутствовал в этом последнем салоне некий холодок, — тут оказывалось больше почтения уму и красоте, чем сердцу — это заметно было и Прусту, но зато какой отдых в великолепной учтивости собеседников, в обстановке, где все предметы включаются в атмосферу изысканности, исключающую всякую нотку показного, неосвоенного поколением, богатства.

В салоне Маргариты-Марии де Мен мне стало понятно, что привлекало Пруста. Он не мог не быть очарован хотя бы именами, звучащими в истории со Средних Веков, и утонченностью стиля жизни пережившего ураган революции, но обреченность которого писатель предчувствовал. Конечно, с писательской прозорливостью увидел он и то, что скрыто за декорацией, что таится по ту сторону, человечность светских персонажей с ее недочетами и ограничениями. «Маленький Марсель» запечатлел и пародию на высший свет описанием буржуазного салона Вердюренов.

В 1970 г. в возрасте 95 лет умерла, на несколько дней пережив своего брата, графиня де Мен. И мы знали, что на катафалке, в церкви Сен-Пьер де Шайо, покрытом ковром из красных роз, покоится последний свидетель прустовского Парижа.

«Русская Мысль», № 2858
1971 г.

АНРИ ДЕ МОНТЕРЛАН
ИЛИ
«БЕСПОЛЕЗНАЯ СЛУЖБА» *)

Со смертью Монтерлана оканчивается целая славная эпоха французской литературы. Это, пожалуй, единственный из всех выдающихся французских писателей его поколения, с которым мне не пришлось встретиться, но творчество которого смолоду я особенно ценила, восхищаясь его литературным «почерком», величественностью его стиля, никогда, впрочем, не переходящего в скучную торжественность. Врожденное — или принципиальное — высокомерие Монтерлана не позволяло ему делать какие-либо уступки читателю, потворствовать читательскому вкусу, и несмотря на смолоду пришедшие к нему признание и почести преданных ему (хоть и немногочисленных) друзей, среди которых находился и наш друг Мацнев, всю жизнь был одинок.

Стоик и пессимист, искал ли он этого одиночества или было оно следствием его характера и отношения к людям — сказать трудно. Легче проследить выбранный им самим путь и влияния, которые этот путь предопределили.

В сущности Монтерлан остался до старости тем юношей, которым он был в шестнадцать лет. Корнель, Баррес, испанский мир, где жизнь неотделима от смерти, вкус к величественному, к доблести, к силе

*) Книга Монтерлана « Le Service Inutile ».

и юной красоте, отказ от пошлости, от легковерности — вот что питало творчество Монтерлана.

Биография писателя показательна. Доброволец в первую мировую войну, Монтерлан тяжело ранен в 1918 году. В 20-м появится его первая книга, «Утренняя смена», изданная на средства автора в количестве 720 экземпляров. Она сразу привлекает внимание. С 1926-го до 1935 гг. он попеременно живет то в Испании, то в Африке. В 1940 г. становится военным корреспондентом.

Небольшой, некрасивый, но крепкого сложенья человек, Монтерлан увлекается спортом (один из его эссе называется «Олимпики») и боем быков и сам участвует в корридах. Испания — его вторая родина. Мы встретим ее в его книгах «Смерть и жизнь», «Маленькая инфанта Кастилии», в его пьесах «Владыка Сантьяго», (пьеса, которая, кстати, наиболее открывает нам автора). Его произведения отражают личность самого Монтерлана, его проблемы, — одиночества, гордости, страха и притяжения смерти. Словами Дон Альваро Дабо — рыцаря Ордена Сантьяго он говорит: «Вы не знаете, до какой степени я жажду молчанья и одиночества, чего-то более и более простого и отточенного. ...Всякий человек помеха тому, кто стремится к Богу... То, что мне нужно, это пустые, пустые дни... Все, что в них входит, даже сама дружба и, особенно, привязанность — войдут лишь, чтобы их потревожить».

Неверующий Монтерлан не преминул спросить совета Архиепископа Парижского по поводу своей прекрасной пьесы «Город, князем которого был ребенок», и послушавшись, отложил ее постановку, хотя пьеса эта о дружбе-влюбленности в католическом пансионате — в основе чиста.

Близки были Монтерлану и отшельники-янсенисты — «Порт-Рояль» может быть самая совершенная пьеса из им написанных. К ней относится замечание Монтерлана: «Если мне когда-либо суждено быть сраженным благодатью, я буду следовать той линии, которую я склонен назвать линией сердца христиан-

ства, потому что мне кажется, что я вижу ее восходящей, как в дереве сок, к сердцу христианства. Она находится в традиции, которая ведет от Евангелия к «Порт-Рояль» переходя через апостола Петра и Бл. Августина (не затрагивает ли она и Кальвина?)»...

Монтерлан в своем театре близок к греческой трагедии, с ее чувством рока, тяготеющего над смертными; Греция, но может быть еще более Рим последних цезарей, с его обреченностью, его грандиозной «постройкой», Испания «крови, чувственности и смерти» более ему родны, чем Франция с ее поговоркой «отчаянье — не французское чувство». Романтик? Да, но романтик своеобразный, лишенный сентиментальности и душевного беспорядка, и так естественно прибегающий к тонкой иронии. Мы найдем ее у автора — женоненавистника — романов «Девушки», «Жалость к женщинам», «Холостяки». Как будто холодком веет от книг Монтерлана, но, уже в 1929 году, молодой Монтерлан смог из того, что было им тогда написано, предложить читателю избранные отрывки под названием «Страницы Нежности»...

Один эпизод показывает какое он внушал уважение к себе. За то, что он написал и напечатал в оккупированном Париже свою книгу «Июльское равностояние», не соответствующее, скажем, духу одной части французов того времени, он был привлечен к ответственности во время «сведения счетов» после освобождения. Но следователь по его «делу» подал в отставку, не желая судить писателя по легкомысленному и партизанскому обвинению.

Годы шли. В 1960 году Французская Академия пожелала видеть Монтерлана своим членом. Но и тут Монтерлан остался верен себе.

Он отказался выставить свою кандидатуру и не пожелал делать традиционные визиты своим избирателям, и его выбрали академиком вопреки вековому церемониалу.

Монтерлана нельзя было встретить на приемах, коктейлях, обедах, премьерах, в литературных салонах. Жил он в спартанской суровости — «терпеть не

могу пристрастия французов к гастрономии» — но в квартире его были греческие и римские статуи, маски, песчаная роза — цветок окаменелого песка аравийских пустынь. Один из его романов называется «История любви Песчаной розы».

Со старостью к стоику пришли немощи, он стал терять иногда чувство равновесия, ослеп на один глаз, боялся потерять другой. Озаренье духовной жизни к нему не пришло. Он покончил с собою выстрелом в рот в день и час, им определенный — «Когда хорошо узнан мир, остается только самоубийство или Бог».

Прочтя эссе Гавриила Мацнева «Самоубийство у римлян» изданное в 1969 году, он написал в 1970, узнав об участившихся тогда случаях самоубийства у молодежи — иногда самосожжением: «Один убился из-за Биаффры, другой — потому что мир слишком безобразен и т. д. Это было как будто началом эпидемии... Если бы я встретил одного из этих молодых людей, я бы ему сказал: ваше мужество заслуживает восхищения и уважения. Но оно совершенно напрасно, вернее — его смысл потерян. Мир безобразен? Подождите и узнайте его получше. Может быть в этом навозе есть жемчуга, для которых стоит жить. Биаффра? Ваша смерть никак не облегчит ее участь, игра сыграна и вы ничего о ней не знаете.

...Откроем Плутарха. Катон, когда готовился к смерти, уговаривал молодого Статилиуса, который во всем ему подражал, отказаться от подражанья и спасти свою жизнь...».

Далек путь от «Утренней Смены», до «Вечернего прилива» — он идет через знаменательные названия — «Хаос и ночь», «Иди, играй с этим тленом»...

Среди радиопередач, посвященных памяти Монтерлана, было прочтено академиком Жаном Гиттон предсмертное письмо матери к молодому Монтерлану. Скорбя о неверии сына, она так закончила это письмо: «Помните, что есть рай и ад — постараемся встретиться там, где нам будет лучше».

«Русская Мысль», № 2915
1972 г.

РОМАНТИК МАЛЬРО

Для тех, кто был молод в 30-х годах, Андре Мальро был тем, кем были для молодежи другой эпохи Баррес, Пеги, Шатобриан. Поэтому и запомнился мне банкет в Париже в гостинице Кларидж в эпоху Народного фронта в честь конгрессистов ПЕН-Клуба в 1937 или 38 году.

Я сидела рядом с автором «Завоевателей», «Королевского пути», «Человеческой участи». Уже приученная к разговорному блеску французских писателей (и политиков), я была поражена (скорее) монологом моего знаменитого соседа, необыкновенной живостью его ума, точностью выражения, оригинальностью взглядов. Сознаюсь, искристые мысли Мальро били фонтаном так быстро, сменяя одна другую, что из словесного фейерверка запомнилось мало. Зато впечатление, и очень сильное, осталось от самой личности писателя, от его темных глаз на бледно-матовом лице.

Встречалась с ним и позднее на официальных приемах, когда он стал министром. На них не поговоришь...

Перечитывая книги Мальро, я больше не нахожу в них того, что волновало и возбуждало нашу мо-

лодость. Как написал сам Мальро, «мир внезапно стал похож на мои книги», — т. е. стал для нас, его читателей, обычным. Необычным после всех своих метаморфоз остался сам Мальро.

Метеором блеснувший в 1921 году на сюрреалистическом небе с эссе «Бумажные луны», денди в длинном плаще уже много раз переменил свой облик — связь с Гоминданом, участие в Сопротивлении и в освободительной войне и неожиданный конец для «авантюриста-интеллекта» — как называют во Франции такой тип писателей, романтик Мальро — вдруг министр и сопутник персонажа скорее классического, генерала де Голля.

Биография Мальро ускользает даже от самых старательных исследователей. Он был сочинителем и в том, что касается его личного прошлого. Внук дюнкеркского плотника, сын маленького чиновника (Мальро говорил о нем как о банкире) — учился ли он в лицее Кондорсе, а затем в школе восточных языков — неизвестно, доказательств не существует.

Андре Мальро был блестящим и всесторонне образованным человеком. Если он был самоучкой, то широкий диапазон его знаний как бы подчеркивает его необыкновенность (не всякому дано стать министром культуры, не имея аттестата зрелости), но признаться, что культура — его личное достижение — Мальро было трудно (странный комплекс умного человека).

Я сказала: человек широкого диапазона. Прибавлю все же — беспорядочного, незнакомого с университетской дисциплиной. Самородный открыватель новых путей, оригинального подхода к искусству — Мальро, человек и действия и идей, считал себя свободным от общепринятой морали, — как показывает его камбоджийская авантюра (присваивание национальных памятников Азии) — ставил себя выше толпы и вел постоянный диалог не с нею, а с самим собою.

Привлекательна сама таинственность его биографии, как будто Мальро возник неизвестно откуда, сам собою, спонтанно — и вырос и жил вне какой-

либо определенной среды. Если искать ключи в его романах, то и они нам мало что откроют. Теперь известно, что Мальро в революционном действии, им описанном, не участвовал, не встречал Хо Ши-мина, не был в Кантоне во время гоминдановской революции. Участие его в Интернациональной бригаде в Испании не подлежит сомнению, но отметим, что Испания была для Мальро, по-видимому, романтической эпопеей. В менее романтическом «Народном фронте» своей страны он участия не принимал. Загадочно и не объяснено в его воспоминаниях чудесное спасение в 1944 г. от расстрела немцами.

До Камю и до Сартра, Мальро был первым современным писателем «абсурда». Он цитировал Паскаля: «Вообразить себе громадное число людей в цепях и обреченных на смерть. Одних каждый день убивают на глазах других, и оставшиеся видят свою участь». Эта картина, нарисованная Паскалем, и дала название роману Мальро. Для Паскаля, как и для всякого верующего, абсурд разрешен, и смерть только начало другой, вечной жизни. Мальро был агностиком. Раз нет ничего над миром видимым, то человек ответственен только перед самим собою. Как и у Дрие ля Рошеля, с которым у него много общего, у Мальро романтическое очарование, вернее, зачарованность смертью. Он верит, что жизнь утверждается только действием. Действие — наркоз героев. Герои не догматики, и Мальро в самый разгар своего революционного увлечения никогда не рассуждает, не думает как марксист, он отказывается быть человеком партии, так как не хочет и не может примириться с дисциплиной.

Да, Мальро не гегельянец и не марксист. История для него не нечто неизменяемое. Человек действия, он утверждает, что человеческая воля беспрерывно, каждый день изменяет исторические события в мире.

Встреча с де Голлем — героем величия Франции — для Мальро величайшее событие. Оба они живут никак не в мире иллюзий, оба они презирают человеческую мелкоту, «обывателей», среднего человека;

и знают тщету славы. О де Голле Мальро напишет книгу «Поваленные дубы» — диалог двух горделивых, разочарованных, но не сдающихся героев — уже на берегах Стикса.

Но как де Голлю, в государственном смысле, Франция была слишком мала, Мальро кажется слишком мал его век. Он человек космоса и тысячелетий. Как спасти эти тысячелетия, обреченные на исчезновение? Искусством, культурой... «Искусство, — пишет Мальро, — дрожанием старческой руки отомстит давящему и ничтожному миру, принуждая его к бессмертию». Культура — наследие человека.

Опять цитирую: «Всякая культура хочет сохранить, обогатить или придать новую форму идеальному облику человека, сделать его таким, каким видят его говорящие... Страны, наиболее страстно повернутые к будущему, Россия, вся Америка, все более и более внимательны к прошлому — потому что культура — это наследование качества мира».

В «Воображаемом музее» искусство всех эпох и всех цивилизаций открывает человеку его сущность — не метафизическую, конечно. «Голоса тишины» проливают свой свет на феномен искусства. В тексте Мальро много неясностей и запутанности, но вдруг гениальная мысль, как молния, открывает и освещает нам новые перспективы. История, как и творчество, как и наука, не объясняя первопричины, устанавливает порядок в беспорядочном чередовании фактов.

В сущности, Мальро умер два раза. В своей предпоследней книге «Лазарь» он — тяжело больной — ощутил себя мертвым и ожившим. Не веря в метафизическое бессмертие, Мальро все же хотел иметь его земную замену: «Существовать в большом числе людей и, может быть, надолго. Я хочу оставить шрам на этой карте» (Франции).

И может быть, в наименее известной книге Мальро (1948 год) «Орешники Альтенбурга» персонаж Мельберга наиболее автобиографичен; впрочем, вся-

кое творчество всегда — автобиографично. И воображаемое может быть подлиннее фактического.

Виртуозный жонглер, гуманист, но не демократ — «всякий активный и пессимистический человек будет фашистом, если нет в нем чувства братства» — Мальро стал голлистом, видя в линии де Голля единственную альтернативу для марксизма во Франции.

Уже больной Мальро написал: «Человек и общество страдают, потому что они потеряли понятие священного, человек не может жить без самых глубоких ценностей».

«Русская Мысль», № 3128
1976 г.

БЕСПОКОЙНАЯ ДУША

О СИМОНЕ ВЕЙЛЬ

В прошлом году в Америке была поставлена пьеса Меган Терри «Приближаясь к Симоне». Героиня — замечательная женщина нашего времени, Симона Вейль, умершая в Лондоне в 1943 г. в возрасте 34 лет.

О ней много писали сразу же после окончания войны, о ней забыли, как забыли в наших школах и университетах французских философов, Бергсона и Алена, отметивших своим влиянием предвоенную эпоху. В частности, все творчество Пруста было тесно связано с идеями Бергсона.

Как и Бергсон, Симона Вейль была еврейкой, как и Бергсон — она близко подошла к христианству, как и он, отказалась креститься во время гонений на еврейство.

Тщедушная, болезненная, некрасивая девушка, родилась в интеллигентной зажиточной семье, отец ее был хирург.

Она принадлежит к поколению Сартра и Симон де Бовуар, но, в отличие от Бовуар, да и от Сартра, она принимала не отвлеченное, а деятельное и личное участие во всех трагедиях европейской современ-

ности. Получив в 1931 г., когда ей было 22 года, высшую ученую степень — звание кандидата по кафедре философии, — Симона Вейль только три года занимается преподавательской деятельностью. В 1934 г. она поступает работницей на завод Рено, чтобы на личном опыте узнать жизнь рабочих. В 1936 г. она записывается в международные бригады в Испании. Несчастный случай — она обварилась на фронте кипятком — возвращает Симону Вейль во Францию, где она возобновляет профессорскую карьеру.

В 1940 г. в июне, Симона перебирается со своей семьей в Марсель и там происходит, отметившая ее дальнейшую жизнь, встреча с двумя католическими деятелями, доминиканским монахом, О. Перрен, и Густавом Тибо.

Даже в не оккупированной зоне евреям было не безопасно жить. Около двух лет Вейль работает в имении Густава Тибо, как сельскохозяйственная работница, пока ее друзья не уговаривают ее в 1942 году покинуть Францию и переехать в Соединенные Штаты. Но война в Америке ощущается мало, а Симона Вейль принадлежит к тем людям, которые хотят разделить все испытания других людей. Через несколько месяцев она уже в Лондоне, где работает в рядах «Свободной Франции», настаивая все время, чтобы ее парашютировали во Францию.

Болезнь — туберкулез — не позволяет ей осуществить это желание и 24 августа 1943 года, после четырех с лишним месяцев госпиталя и санатории, Симона Вейль умирает, ускорив свою смерть отказом от усиленного питания, и даже от нормального в Англии пайка, и ограничивая свою пищу пайком, существовавшим во Франции (на котором, кстати, мало кто во Франции жил), но Симона Вейль, еще живя на юге Франции, довольствовалась половиной пайка, отсылая часть своих продовольственных карточек политическим заключенным.

То, что поражает и восхищает в личности Симоны Вейль, — это жажда абсолюта и редкое в среде ин-

теллигенции не отделение слов от дел. Как Бовуар и Сартр, она могла бы ограничиться тем, что называется «служением идее», посвятить себя научным трудам, политической деятельности, выступать на митингах, где и когда это не опасно, и заслужить себе совсем не тернистым путем славу и признание.

Симона Вейль откинула этот соблазн, отказалась от признания и от всякого «властительства над душами».

Она не оставила философского или литературного наследства в смысле какой-то определенной суммы творчества или стройной, философской системы, а всего-навсего ряд эссе и записей, которые она подарила Густаву Тибо, попросив его их употребить по своему усмотрению, включив их в свои труды: «Я буду очень счастлива, — написала она Тибо, — если они попадут под ваше перо, переменив форму и отражая ваше лицо». Это тоже очень необычный подход, такой отказ от «самости».

Симоне Вейль было совершенно все равно, что о ней думали люди, она была по ту сторону всяких условностей. Люди, ее знавшие, вспоминают о ней, как о человеке абсолютном до эксцентричности, ни на какие, даже бытовые, компромиссы не способном, но дошедшем до полной отреченности от себя самого.

Работая, она по-евангельски оставляла себя только прожиточный минимум, раздавая нуждающимся все остающееся от ее жалованья, после вычета суммы, которую получают безработные и на которую она и жила.

Габриэль Марсель, Жюльен Грин, Альберт Камю сразу признали Симону Вейль исключительным свидетелем первой половины нашего века. То, что она написала, перекликается с идеями Паскаля и Киркегарда, но отмечено и ее оригинальностью. Многие труды Симоны Вейль были изданы и свидетельствуют о том, как тесно ее идеи и манера жить были переплетены.

В 1947 г. посмертным изданием вышел сборник произведений Вейль под редакцией Густава Тибо — «Тяжесть и Благодать», в 1949 г. — «Укор», в 1950 г. — «Ожиданье Бога» и в том же году — «Сверхъестественное знание». В 1951 г. — «Письмо к одному монаху», затем «Дохристианская Интуиция», в 1953 г. — «Рабочее положение», в 1955 г. — «Греческий источник», затем «Насилие и Свобода», в 1957 г. — «Лондонские записи», «Исторические и политические записи», и в 1969 г. три тома «Тетрадей».

Нельзя искать гармонии в философии Симоны Вейль, она вечная странница и вечный искатель истины. Габриэль Марсель сказал, что С. В. остается всегда вне интеллектуальной логики, вне связности. Свидетельница и слуга абсолюта ничего не имеет общего с доктринерством. И все искания Симоны Вейль вне всяких доктрин.

Пьер де Буадефр заметил: «Отравленная манихейством, не принимая сотворенного мира, Вейль была как бы парализована в своем ожидании Господа». В «Письме к одному монаху», Симона Вейль объясняет, почему она не могла перейти в католичество. Сотворение мира, весь тварный мир были связаны в ее понимании с грехопадением. Творение и грех были, по ее выражнию, «только два лица одного и того же отречения».

По своей концепции истории, Симона Вейль видит в ней «свидетельство убийц об их жертвах и о самих себе». Сама Вейль была всегда на стороне жертв и побежденных: за Троянцев против Рима, за Дария против Александра, за Альбигойцев против Св. Людовика... Все исторические триумфальные эпохи Франции ей были чужды и противны.

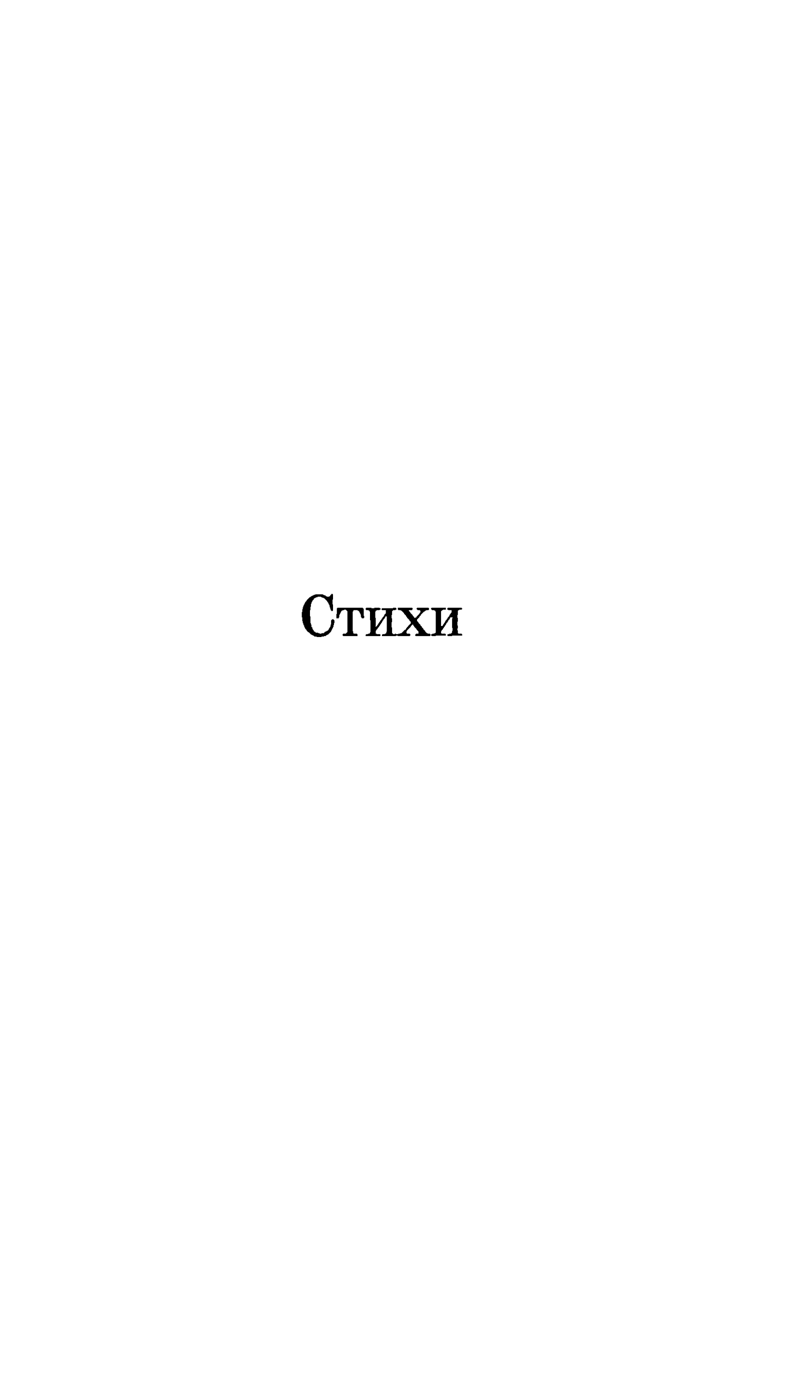
С еще большей строгостью, чем Рим, Симона Вейль осуждает Израиль: «наша цивилизация ничем не обязана Израилю — пишет она, — и мало чем христианству, она почти всем обязана дохристианскому античному миру. Христианство, аннексированное еврейским империализмом, а затем отвратительным римским духом, вырвало духовные корни мира».

Не воинствующая Церковь притягивала Вейль, а мистическая. «То, что совершенно — это не Церковь, а тело и кровь Христа на алтаре». Назначение и чистоту Церкви С. Вейль ощущает в хранении таинств: «Если бы Евангелие ничего не говорило о Воскресении, мне легче было бы верить, — признается С. В. — Мне достаточно одного креста».

Крестом ее жизни было призвание: «видеть во всей его реальности страдание мира». Она не смогла осуществить поставленную себе задачу, сделать синтез т. е. согласовать свою заботу о социальной справедливости и свою тягу к личной трансцендентальности, но она нашла подвижническим путем «искания абсолютного добра» — элемент, связующий все человечество.

В среде французской интеллигенции, где преобладают люди слепые и глухие к духовной реальности, Симона Вейль была удивительным явлением.

«Русская Мысль», № 2836
1971 г.



Стихи

Пускай пожар горит над нами,
О, Русь, я связана с тобой
Тысячелетними снегами
Над черной русскою землей.

Я, Русь, давно с тобой венчалась,
Когда под плеск речной волны
У берегов Днепра качались
Варягов узкие челны.

Ведь кровь князей твоих победных
И их пожаров сизый дым
Текут сейчас потоком бледным
По жилам стынущим моим.

Наш брак и ныне свят и прочен,
Что нужды, что караешь ты
И что во мраке русской ночи
Ты ставишь новые кресты.

Ты там где я. Молчишь, слепая,
Молчишь и смотришь в эту ночь,
Свою судьбу превозмогая,
Себя не можешь превозмочь.

С тобою скованная снами,
Твой гнев и боль твою деля.
Я помню — дышит под снегами,
Все та же, черная земля.

«Полярная Звезда», 1934 г.

ДВАДЦАТЬ ПЯТЬ ЛЕТ СПУСТЯ

1945-1970

Франция, 1940 г.

ГОСПИТАЛЬ

Умирали люди, умирали,
Простынями мы умерших покрывали.
Тело мы в часовню относили,
О душе мы Господа молили.

Бомбовозы кладбище бомбили,
С яблони все ветви отломили.
Но живые жить еще хотели
Хоть часок хотя бы, не неделю.

Госпиталь под бомбами лежал,
Госпиталем был большой вокзал.
Приносили, уносили, приносили...
Жили мы тогда, или не жили,

Но сияла в нашей нищете
Божья милость в синей высоте.
И несли мы землю на кресте.

«Русская Мысль», 1970 г.

Франция, 1941 г.

ПОБЕГ

Где грань, переход и граница,
Рубеж, что спасает тебя?
Но кто на побег не решится
Свободу ценя и любя...

Так трудно спасенье, так много
Врагов у тебя, у меня
И узкая вьется дорога
До «самого длинного дня» *)

Но может потом и приснится,
Уже у других берегов,
Что самые светлые лица
Не наши, а наших врагов.

Потом, а пока все усилья
В любую работу вложи
И в будничном этом бескрыльи,
Себя и других накажи.

За искус бессилья и страха,
Ведь верным от века дано,
Подняться из смерти и праха,
Как рожью поднялось зерно.

---

*) «Самый длинный день» так был прозван день 6-го июля 1944 г. — высадка союзников в Нормандии.

Лондон, 1942-1945 гг.

АНГЛИЯ

Поют зенитки в темном парке.
В ночи, прожектором пленен,
Наш враг в руках беспечной Парки
Огнем и смертью окружен.

Пусть фосфор прожигает крыши
Домов, где мы с тобой сидим,
За адским грохотом мы слышим
Тот мир, что мы воссоздадим.

Но в нем останется вот это:
Непрочность жизни, зыбкость дня,
Увековеченное где-то
Крещенье бури и огня.

Живет веселье в гневе нашем
И жизнь становится простой,
Как просты вспаханные пашни,
Под черной тучей громовой.

И так пронзительно-чудесно
Сознание, что мы живем
Не унизительно и тесно
Под этим огненным дождем...

1945 г.

ГРЕЦИЯ

Я не забуду, я запомню
Не тишину, а пенье дня
В заброшенной каменоломне
Куда война ввела меня.

Трещат цикады в жестких травах
Сухих аттических полей,
О прошлых битвах, прошлых славах,
В шуршаньи миртовых ветвей.

А вдалеке, как гром Зевеса
Гремит орудий грозный гул,
И солнце падает отвесно
В отверстье смертоносных дул.

На пыльном мраморе Эллады,
Стоит пастух, или Гомер?
И шумно плещутся наяды
Под взглядом каменных Неер...

И смерть и жизнь включились в пенье
Простого, солнечного дня,
Мне подарившего виденье
Самофракийского огня.

1945 г.

ГЕРМАНИЯ

Победа, победа, победа!
Но жалость нам тоже дана,
И горе врага и соседа —
Невольная наша вина.
И тот, кто в борьбе непреклонен
К победе своей не привык,
В набате чужих колоколен
Он слышит привычный язык
Своих испытаний и горя,
Страданий своих и чужих.
И мщением не опозорит
Товарищей мертвых своих.

МУЗА

Вздыхает бедная моя,
Трепещет в холоде как птица
И все же, надежду затая
По-прежнему ко мне стремится.

Отстань — прошу — на что ты мне?
Я занята чужой тревогой...
Звездой сияет на окне,
Манит какою-то дорогой...

И открывает снова дверь
В страну нездешнего звучанья.
Я говорю — поверь, поверь,
Нет чище пенья чем молчанье.

Она не верит и поет
Меня с собою увлекая
В давно забытый мной полет.

«Возрождение», № 228, 1971 г.

*

Как трудно разорвать земную тень
Пробиться через сеть земных желаний
Бескрылых слов отяготивших день,
Закрывших путь к свободе созерцанья.

Под трепетом чернеющих ветвей,
Под зимним ветром дышущим сурово
Порадоваться радости своей
Извека льющейся и вечно новой.

«Возрождение», № 228, 1971 г.

Памяти Святослава

Как легок ласточек полет
Над древностью земной
А время всё идет, идет
И ты всегда со мной
В дрожаньи неба, в шуме дня
И в шорохах ночей.

Как легок ласточек полет
Над тяжестью моей...

Рим, 1973 г.

*

Так жизнь и смерть установили
И в равновесьи роковом
Я в отвратительном бессильи
Смотрю на опустелый дом.

Смотрю на глупые предметы
Ненужность бренную вещей
И все мне кажется, что где-то
Есть память памяти твоей.

Но мне молчанье отвечает
И я одна, и я молчу
И время молча погашает
Непогасимую свечу.

Париж, 1973 г.

«Новый Журнал», № 114, 1974 г.

СЕНТЯБРЬСКИЕ СТИХИ

I

Ты возвращаешься мне птицей
Влетевшей в скучное окно,
Но никогда мне не приснится
Чему присниться не дано.
Все то, что пело в каждом часе
В неповторимости минут,
В двойном несчастьи или счастьи,
Как эти ветви тут растут.
Все что звучало и сияло
Среди терпенья и труда,
Что некогда казалось малым,
Как эта талая вода,
И что теперь цветет молчаньем
И одиночеством моим...

Полусознаньем, полузнаньем
Мы непонятное храним
Так бережно и осторожно
Касаясь тайны бытия,
Что невозможное возможно:
Ты жив, а неживая Я...

II

Пустое кресло у стола
И память бьется о потери,
Как птица в клетке из стекла
В освобождение не верит.
Пустое кресло, дом пустой
И улица совсем пустая,
И мир, как будто бы простой
Вдруг растворился и растаял.
И все ненужное гнетет,
Все нужное ненужным стало,
А память все поет, поет,
Но не печально, а устало.

«Новый Журнал», № 117, 1974 г.

ОГЛАВЛЕНИЕ

Рассказы

Статьи

ACHEVE D'IMPRIMER SUR LES PRESSES
DE LA SOCIETE D'IMPRIMERIE
PERIODIQUES ET D'EDITION
32, RUE DE MENILMONTANT, 75020 PARIS
EN JUILLET 1978